Литературный Азербайджан

ИЗДАЁТСЯ с 1931 года

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
УЧРЕДИТЕЛЬ - СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

№ 10

2015

СОДЕРЖАНИЕ

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН – 120

Аладдин ЯГУБОВ. *Стихи* 3
Марат ШАФИЕВ. *Стихи* 4
Валентина ЭФЕНДИЕВА. *Стихи* 4
Ирина ЗЕЙНАЛЛЫ. *Стихи* 5
Эльберд ТУГАНОВ. *Стихи* 5
Вера ВЕЛИХАНОВА. *Стихи* 6
Елизавета КАСУМОВА. **Оставленная и дорогая…** 7

СИЯВУШ МАМЕДЗАДЕ – 80

Надыр АГАСИЕВ. **Несколько слов о юбиляре** 73
Сиявуш МАМЕДЗАДЕ. *Стихи* 75
Сиявуш МАМЕДЗАДЕ. **Памяти собрата по перу** 77

ПРОЗА

Натиг РАСУЛЗАДЕ. **Гольфстрим.** *Роман-кардиограмма* 14
Ильгар ФАХМИ. **Бакинская мозаика** 79

ПУБЛИЦИСТИКА

Елизавета КАСУМОВА. **Сберечь в себе Гольфстрим** 70
Рафик АСКЕРОВ. **Яркое обаяние таланта, или Восьмой мугам Натаван Фаиг** 112

Главный редактор – **Солмаз ИБРАГИМОВА**

Зам.главного редактора – **Елизавета КАСУМОВА**
Литсотрудники – **Диляра БАБАЗАДЕ, Егана МУСТАФАЕВА**
Отдел прозы – **Надир АГАСИЕВ**
Отдел поэзии – **Алина ТАЛЫБОВА**
Отдел публицистики – **Ровшэн КАФАРОВ**
Отдел подписки и рекламы – **Джамиля ШАРИФОВА тел: (055) 846-98-49**
Компьютерная верстка – **Натаван ХАЛИЛОВА**
Корректор – **Анна КУЗЁМКИНА**

Редакционная коллегия: **Эмиль АГАЕВ, Кямаля АГАЕВА, Гюльрух АЛИБЕЙЛИ, Эльмира АХУНДОВА, Агиль ГАДЖИЕВ, Асиф ГАДЖИЕВ, Шелаля ГАСАНЛИ, Александр ГРИЧ (Лос-Анджелес, США), Максуд ИБРАГИМБЕКОВ, Динара КАРАКМАЗЛИ, Сиявуш МАМЕДЗАДЕ, Азер МУСТАФАЗАДЕ, Эльчин ШЫХЛЫ**

Литконсультант – **Натиг РАСУЛЗАДЕ**
Ответственный секретарь – **Эльдар ШАРИФОВ-СЕЙШЕЛЬСКИЙ**

Журнал зарегистрирован 19.04.96 г в Министерстве
печати и информации Азербайджанской Республики
Регистр. № 352

Адрес редакции:
AZ 1000, Баку, ул.Хагани, 53
Электронный адрес: litaz@box.az
Тел: 493-75-81

Подписано в печать 21.09.2015г.
Бумага офсетная. Формат 70x100 1/16
Печать офсетная, 8.25 печ. л.
Тираж 400
Отпечатано в типографии «OL»NKPT MMC
Тел.: 497-36-23
Адрес: ул. Мирзы Ибрагимова, 43

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКАХ ССЫЛКА НА ЖУРНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Ранее опубликованные произведения редакцией не рассматриваются

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «OL»NKPT MMC

© «Литературный Азербайджан», 2015г.

..

К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

АЛАДДИН ЯГУБОВ

У барельефа С.Есенину

В день апрельский, солнечно-весенний,
Надоевший отшвырнув кальян,
Я пришел к тебе, Сергей Есенин,
Улочками старых Мардакян.

Вот он, дом забытого Муртуза,
Дивный сад, что так похож на рай...
Руки милой в золоте «уруса»,
И чайханщик разливает чай...

И пускай ты не был на Босфоре,
С караваном не ходил в Багдад,
Ты в глазах любимой видел море,
Хорасанский воспевая сад.

Просишь ты у жадного менялы,
Что туманы[1] приравнял к рублю,
Чтобы перевел для милой Лалы
На персидский нежное «*люблю*».

От кого-то ты услышал сказку,
Что Саади целовал лишь в грудь –
Обещал изысканную ласку,
Изучить потом когда-нибудь.

Только не успел –
ушел так рано,
В «Англетере» путь закончив свой...
Помнит о тебе мой край шафранный ,
С небом, точно ситец голубой!..

В день апрельский, солнечно-весенний,
Каменной руки коснусь твоей,
И скажу тебе:
«Привет, Есенин,
Русский парень с именем Сергей!..»

На века застыл в холодном камне,
В доме на каспийском берегу,
Тот поэт березовой Рязани,
Душу подарив свою Баку!..

[1] *Туман* – персидская денежная единица, вышедшая из обращения в 1932 году.

МАРАТ ШАФИЕВ

Есенинское. Посткриптум.

Я последний поэт деревни,
я застал ее гаснущий свет.
Обнимали меня деревья
перед тем, как сойти на нет.
Шел табун, рассыпая угли –
ночь зрачком огневым кипит!..
Но остался луною круглой
только след лошадиных копыт.
А сирень тяжелела от счастья,
и просили, слезясь, глаза:
– Вспоминайте меня почаще...
Позабыть про такое нельзя.

...Все пропало.
Кому доверюсь?..
В пекле атомном тяжко дышать.
Положите меня у деревьев,
чтобы смог я светло умирать.

ВАЛЕНТИНА ЭФЕНДИЕВА

Памяти Галины Бениславской

Она ему подругою была,
Ждала всегда без тени укоризны,
Как уголь, раскаленный добела
В горниле жизни.

И он ее по-своему любил.
Но в строки уходя, как на разведку,
Не с нею, одержимой, ел и пил,
Ломая жизни ветку.

Когда судьбе он подводил черту,
Устав от пересудов и разврата,
Зачем не вспомнил ласковую ту,
Которая и радость, и отрада.

Ушел из жизни лирик золотой.
В поэзии иных настала эра.
А память за кладбищенской стеной
Сжимает рукоятку револьвера.

ИРИНА ЗЕЙНАЛЛЫ

Отговорила роща золотая…

С. Есенин

А дни идут
своим обычным ходом...
Синеет неба солнечная даль,
Еще не оцифрована природа,
Еще не зашифрована печаль.

И в заповедной песне листопада
Еще звучат заветные слова,
И поутру охватывает радость,
И от любви кружится голова...

Но безразлична поросль молодая,
И прервана связующая нить.
И безуспешно роща золотая
Пытается нам что-то объяснить...

ЭЛЬБЕРД ТУГАНОВ

Шутливое подражание Есенину

Снова выплыли годы из мрака
И шумят, как ромашковый луг,
Мне припомнилась нынче собака,
Что была моей юности друг…

С.Есенин

Пусть минувшее тонет во мраке,
Я его не хвалю, не хулю...
Ты мне нравишься больше собаки,
Но собаку я больше люблю.

Не ругай ты меня, дорогая,
Не гони, как бездомного пса,
Вновь признанья мои отвергая,
Ты лукавые прячешь глаза.

Не пытайся презреньем притворным
Уязвить мою душу всерьез,
Ты меня впечатляешь, бесспорно,
Но милей мне
мой преданный пес.

С ним мы вместе лакаем не бражку –
Жизни горькую правду одну,
И ночами, с душой нараспашку,
Горько воем потом на луну.

Не зови эту долю несчастною,
Постарайся, коль в силах, понять:
Я затем всю неделю пьянствую,
Чтобы трезвым тебя не встречать.

И пускай ты в себе уверилась,
Но, уверовав в чары свои,
Ты поверь, что собачья верность
Мне дороже сучьей любви.

ВЕРА ВЕЛИХАНОВА

Письмо Есенину

В разлуке ночь течет по каплям,
И звезды щурятся с небес,
А расстояния на картах
Не предвещают нам чудес....

И мнится мне, что ты выходишь
И смотришь на бездонный свод,
А после бережно выводишь
Неспешных строчек хоровод.

Ты пишешь, что пленила скука,
Когда ворвалась в спящий дом,
И что тоска, как злая сука,
Все выла сорванным баском.

Что дом твой сотрясают вьюги,
А ты упрямишься и ждешь...
И – к черту долгие разлуки,
Восток и Запад,
снег и дождь!..

Ты рвешь конверты. И не спится,
И кажется, что без конца
В нас расстоянья будут длиться
В безумной жажде письмеца.

И в каждой строчке ты расскажешь
Про свет и странный непокой...
И снова рифмами нас свяжешь,
Соткав мой образ неземной.

ЕЛИЗАВЕТА КАСУМОВА

ОСТАВЛЕННАЯ И ДОРОГАЯ…

Сергей Есенин – поэт удивительно лиричный, искренний, стихи его – музыкальные, напевные. Недаром на них написано столько замечательных песен – это и «Клен ты мой опавший», и «Отговорила роща золотая», и «Не жалею, не зову, не плачу» и многие другие. Сегодня, спустя 120 лет со дня рождения поэта и 90 лет со дня его смерти, стихи его по-прежнему известны и любимы. Эмоции, пережитые поэтом и отраженные им в его творчестве, и ныне продолжают трогать и волновать сердца многочисленных почитателей его таланта.

На создание многих стихотворений поэта вдохновили его женщины. Синеглазый, золотоволосый, талантливый – конечно же, он нравился многим из них. И не просто нравился – они любили его. Анна Изряднова, Зинаида Райх, Айседора Дункан, Галина Бениславская, Надежда Вольпин, Софья Толстая – все они были его женщинами. На трех из них он был женат – на Зинаиде Райх, Айседоре Дункан, Софье Толстой.

Да, женщин у поэта было много. «У меня было три тысячи женщин!» – похвастался както Сергей Есенин приятелю. На недоверчивое: «Вятка, не бреши!», заулыбался: «Ну, триста. Ну, тридцать»…

А вот любви в его жизни было мало – считал сам Есенин, объясняя это так: «Как бы ни клялся я кому-либо в безумной любви, как бы я ни уверял в том же сам себя – все это, по существу, огромнейшая и роковая ошибка. Есть нечто, что я люблю выше всех женщин, выше любой женщины, и что я ни за какие ласки и ни за какую любовь не променяю. Это – искусство»…

Наверное, так и было на самом деле. Но можно ли сказать, что ни одна женщина не вошла надолго в его сердце? Те, кто близко знал Есенина, утверждали: такая женщина была. Речь идет о первой жене поэта, Зинаиде Райх, нежные чувства к которой поэт испытывал до конца своей жизни.

История их любви – очень непростая. Хотя поначалу все казалось простым и ясным.

Они встретились в редакции газеты «Дело народа», где Есенин в то время часто печатался. В тот весенний день 1917 года Есенин пришел в редакцию по делу и, не застав человека, который был ему нужен, разговорился с находившейся там сотрудницей Зинаидой Райх. Разговор настолько увлек его, что когда пришел тот, кого он ждал, и пригласил его к себе, Есенин со свойственной ему непосредственностью ответил: «Ладно уж, я лучше здесь посижу»…

Зинаиде Райх было тогда 22 года, Есенину – годом меньше. Она родилась под Одессой, в семье обрусевшего немца, который служил на железной дороге машинистом паровоза. Она обладала живым умом и яркой внешностью – белокожая брюнетка с выразительными, запоминающимися чертами лица. Она много читала, особенно любила «Войну и мир» Льва Толстого. Это была девушка с довольно широкими интересами. За два года до знакомства с Есениным Райх приехала в Санкт-Перербург и жила, сама зарабатывая себе на жизнь. Посещала Высшие женские курсы. Ее отличал достаточно серьезный подход к жизни. Но она не была «синим чулком» – люди, близко знавшие ее, отмечали, что она была смешлива и жизнерадостна. Несмотря на то, что, по свидетельствам современников, Райх обладала безупречной, классической красотой, она тогда еще не вполне это осознавала, так как дома ей твердили, что вокруг немало женщин красивее нее. И это неосознание придавало ей особую прелесть. Так что совсем неудивительно, что Есенина, чувствовавшего красоту, и не только внешнюю, но и духовную, заинтересовала такая девушка.

Поначалу их связывали лишь дружеские отношения. Есенин ухаживал тогда за подругой Райх, Миной Свирской. Надо сказать, что к этому времени Есенин уже успел пожить семейной жизнью с другой женщиной – Анной Изрядновой, которая родила ему сына. У Райх Есенин тоже не был первым, хотя она от него это скрыла, что впоследствии Есенин не мог ей простить.

Со дня знакомства Есенина и Райх прошло три месяца. В июле они по приглашению друга Есенина поэта Ганина поехали на его родину, в Вологду. Кстати, ехать они должны были вчетвером: Райх и Ганин, который числился к тому времени ее женихом, и Есенин с Миной Свирской. Свирская поехать не смогла, поехали втроем. И вот там-то, в поездке, все переменилось. Они побывали на Белом море, в Архангельске, на Соловецких островах. А на обратном пути, на пароходе, Есенин сделал Райх предложение, сказав громким шопотом: «Я хочу на вас жениться». Ответ «Дайте мне подумать» его оскорбил – он был уверен в немедленном положительном ответе. Райх, которая к тому времени уже испытывала к Есенину нежные чувства, сдалась и согласилась. Есенин не хотел откладывать их соединение. Решено было венчаться немедленно. Все трое сошли в Вологде. Денег уже ни у кого не было – растратили за время поездки, да и они ведь уже возвращались домой, кто знал, что потребуются дополнительные расходы на внезапную женитьбу Есенина. Деньги были получены от отца Зинаиды Райх, которому она выслала телеграмму следующего содержания: «Вышли сто, венчаюсь». На эти деньги купили обручальные кольца, нарядили невесту. На цветы денег не осталось. Есенин нарвал букет полевых цветов по пути в церковь. Венчание состоялось 4 августа 1917 года. В Петроград Есенин и Райх вернулись мужем и женой.

Время было непростое, между двумя революциями – Февральской и Октябрьской. И это накладывало свой отпечаток на жизнь всех, и наших молодоженов, в частности.

Первое время они жили врозь – ведь Есенин и Райх стали мужем и женой так внезапно, еще не будучи готовыми к совместной жизни. Но вскоре поселились вместе. Жили на Литейном. Есенин пожелал, чтобы его супруга оставила работу (он самолично явился в редакцию, где она служила, и объявил, что жена его здесь больше не появится). Райх возражать не стала… Ей хотелось посвятить себя семье, мужу, хотелось иметь детей и настоящий семейный дом. Как жена, она обладала всеми необходимыми для этого качествами – была хозяйственна, энергична и полностью отдавалась семье. Райх прекрасно готовила, умело обустраивала дом.

Есенину все это нравилось. Он даже отказывался от участия с друзьями-поэтами в «дружеских попойках», ссылаясь на то, что дома «жена ждет».

Но идиллия длилась недолго. Райх была разумной женщиной, с твердыми принципами и чувством собственного достоинства. Она имела на все свое мнение, свою точку

зрения и не готова была отказываться от них или их замалчивать Душевная, открытая навстречу людям, всегда готовая сделать или сказать приятное, она бывала при этом и неожиданно вспыльчива, и до резкости пряма. Неудивительно, что они с Есениным ссорились – впрочем, как и многие молодые супруги. Первые ссоры были связаны с поэзией – их мнения в этом вопросе не всегда совпадали. Однажды дело даже дошло до того, что они выбросили в темное окно обручальные кольца. И тут же бросились их искать. Вспоминая об этом, Райх говорила: «Какими же мы были тогда глупыми!»...

В Петрограде они прожили чуть больше полугода – с сентября 1917-го по март 1918-го года, после чего переехали в Москву. И сразу же на время расстались: Есенин отправился к своим родителям, в село Константиново, а Райх, которая ждала тогда ребенка, – к своим, в Орел. После рождения дочери Тани Райх вернулась в Москву, хотя Есенин ее не ждал и не звал – он жил тогда в квартире на Богуславской улице со своим другом, поэтом Анатолием Мариенгофом. Какое-то время они жили втроем, одной семьей. Однако отношения Есенина и Райх все больше портились, пока между ними, наконец, не произошел разрыв. Большую роль в этом, по признанию очевидцев, сыграло окружение поэта и главным образом Анатолий Мариенгоф, который внушал Есенину, что поэт должен быть свободен, семья – это не для него (тем не менее, спустя несколько лет Мариенгоф, сам будучи поэтом, женится, что и станет одной из причин того, что их отношения с Есениным полностью прекратятся), водил его по салонам, поэтическим кафе, зачастую Есенин не ночевал дома, нередко – по несколько дней. Его постоянные отлучки, кутежи, скандалы, сомнительные компании не могли нравиться Райх, у которой о семье были совсем иные представления. И все же она старалась сберечь семью, хотя такая жизнь ее и не устраивала. Но Есенин сам предложил Райх уехать, заявив, что любовь прошла. Однако Райх сказала, что не верит этому, знает, что он любит ее. И тогда Есенин попросил Мариенгофа сказать Райх, что у него есть другая женщина и что он сейчас у нее, сам же отправился погулять и явился домой заполночь. На следующий день Райх уехала в Орел.

Она очень тяжело переживала их с Есениным расставание. Правда, спустя какое-то время Райх вернулась к Есенину, но ненадолго – вскоре они вновь расстались. Через несколько месяцев после этого родился их второй ребенок – сын Костя. Дать сыну это имя Райх и Есенин договорились по телефону. Райх надеялась, что рождение второго ребенка соединит их с Есениным, но все вышло совсем не так. Впервые увидев новорожденного сына (произошло это в купе поезда), Есенин сказал: «Фу, черный... Есенины черными не бывают!», – и быстро вышел.

В общей сложности Есенин и Райх прожили вместе около четырех лет... Но закончилась ли на этом их история?

Расставшись с Есениным в 1920-м году, оставшись одна с двумя детьми на руках, без средств к существованию – Есенин почти не помогал им, Райх, тем не менее, выстояла. Она начала заново выстраивать свою жизнь и преуспела в этом. Осенью 1921 года она поступила учиться в Высшие театральные мастерские и, несмотря на то, что в нее, как в актрису, мало кто верил, вскоре стала играть в театре Мейерхольда главные роли в спектаклях. Во многом становлению Райх, как актрисы, способствовал сам Мейерхольд, за которого она в 1921 году вышла замуж. Надо сказать, что Мейерхольд обратил внимание на Райх еще когда она была женой Есенина, которому он даже как-то сказал – уже после его развода с Райх – что Зинаида ему нравится, и как он отнесется к тому, чтобы он женился на ней, на что Есенин ответил в том смысле, что, мол, забирай, только рад буду.

Рядом с Мейерхольдом Райх по-настоящему расцвела. Она почувствовала любовь и заботу. Муж даже взял ее фамилию в качестве второй, так и подписывался – Мейерхольд-Райх. Родители ее перебрались из Орла в Москву, у детей было все самое лучшее – доктора, учителя, дорогие игрушки, отдельные комнаты. Вскоре семья переехала в сто-

метровую квартиру. Зинаида стала не только известной актрисой – она была теперь одной из первых дам Москвы, бывала на дипломатических и правительственных приемах, принимала в своем доме самых именитых гостей.

Но Есенин так до конца и не ушел из ее жизни. Райх позволяла Есенину бывать у них, видеть детей. Сыну, который как-то назвал Мейерхольда папой, сказала: «Не называй его так, у тебя есть родной отец»…

У Есенина жизнь тоже шла своим чередом. Расставшись с Райх, он вскоре вновь женился – на смену тогда еще неизвестной орловской жене пришла популярная американская танцовщица Айседора Дункан. Но довольно быстро придет время, когда Сергей Есенин будет дежурить возле дома Мейерхольдов, умирая от тоски по своим детям, стучаться в дверь и жалобно просить, чтобы впустили на одну минуту, только посмотреть...

В 1923 году в Париже, где Райх была вместе с Мейерхольдом, она, встретив Есенина и Дункан, познакомилась с Айседорой. Теперь она была не менее известна, чем Дункан, и более молода и красива. И Есенин не мог не заметить этого.

После возвращения из-за границы он разорвал отношения с Айседорой Дункан и вскоре появился у Мейерхольдов. Его встретила Райх – оживленная, полная сегодняшним днем. Поэт был тогда уже на грани болезни, он резко свернул в комнату Анны Ивановны, своей бывшей тещи. Кто-то зашел в комнату и, выйдя, сказал, что оба плачут.

Очевидно, Есенина мучила мысль о том, что Райх, которая так и не стала для него чужой, безразличной, устроила свою судьбу, довольна ею, и в ее жизни ему нет места. Сожаление о потерянном и невозможном мучало его… Он вновь стал искать с ней личных встреч и на какое-то время даже добился своего: они стали тайно встречаться. Но эти встречи лишь добавили боли и горечи в их и без того сложные отношения. Есенин стал совсем другим – исчезло юношеское обаяние, испарились жизненная цепкость и деловая хватка, помогавшие очаровывать советских вельмож и улаживать дела с издателями. Сломленный, больной человек стремительно катился вниз, менял женщин, пил, погибал – и сам стремился к гибели. За ним тянулись слухи о диких скандалах, поговаривали и об эпилептических припадках.

Зинаида Райх тайно встречалась с ним в комнате своей подруги Зинаиды Гейман. И Мейерхольд об этом знал. Он не вмешивался, но отлично понимал, чем это может кончиться, и пытался хоть как-то помешать происходящему. Гейман не сообщила Райх, что Мейерхольду все известно, что однажды вечером он сказал Гейман, брезгливо глядя ей в глаза: «Я знаю, что вы помогаете Зинаиде встречаться с Есениным. Прошу, прекратите это: если они снова сойдутся, то она будет несчастна...».

Гейман не смогла прекратить эти встречи, как ее просил о том Мейерхольд. Зато это смогла сделать сама Райх. Хотя кое-кто и злословил о ее патологической зависимости от Есенина, что если позовет, так она и зимой босая побежит к нему, и действительно у нее была некая зависимость от этого человека, с которой было сложро бороться, однако Райх в одну из таких встреч сказала Есенину: «Параллели не соединяются», и сообщила, что никогда не оставит Мейерхольда…

Это было еще одним ударом для Есенина. Но и самой Райх такое решение не далось даром – очередное расставание с тем, кого она называла «сказкой своей жизни», привело Райх к сильнейшему нервному растройству, грозящему потерей рассудка.

Только увлечение театром и забота мужа – Всеволода Мейерхольда – спасли ее. Мейерхольд всю свою жизнь подчинил служению ей. Репертуар возглавляемого им театра был составлен в расчёте только на «Зиночку». И в театре, и дома Мейерхольд не позволял себе никаких действий и слов, которые могли бы доставить ей хоть малейшее волнение.

Есенин тоже не в силах был забыть о Зинаиде Райх. В 1924 году он пишет свое знаменитое «Письмо к женщине», посвященное ей. И здесь, спустя четыре года после их раз-

рыва, он по-прежнему называет ее любимой. Речь в стихотворении идет, по-видимому, о той их встрече, на которой они, по настоянию Райх, окончательно расстались.

Вы помните? Вы все, конечно, помните.
Как я стоял, приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое в лицо бросали мне.
Вы говорили: нам пора расстаться.,

В этом стихотворении – и раскаяние, и просьба о прощении:

Простите мне, я мучил вас,
У вас была тоска в глазах усталых...

И – ненавязчивая попытка вернуть Райх: Есенин говорит о том, что стал другим: «Не мучил бы я вас, как это было раньше», и горькое понимание того, что возвращение невозможно:

Любимая, я знаю: вы – не та.
Живете вы с серьезным, умным мужем,
Что не нужна вам наша маета,
И сам я вам ни капельки не нужен…

И принятие решения Райх о расставании, окончательное понимание того, что это – всерьез и навсегда: «Живите так, как вас ведет звезда»…

Но и это – еще не конец их любви, все кончится тогда, когда Есенина не станет, а пока… Каждый из них вновь продолжил жить своей жизнью: Райх блистала в главных ролях в театре своего мужа, Есенин писал стихи и – снова женился. В третий и последний раз…

В начале 1925 года поэт познакомился с внучкой Льва Толстого Софьей, которая, как и многие девицы того времени, была влюблена в поэзию Есенина и – заочно – в него самого. 29-летний Сергей робел перед аристократизмом и невинностью Софьи. «Таких у меня еще не было», – говорил он другу. В июле 1925 года состоялась скромная свадьба. Сонечка была готова, как и ее знаменитая бабушка, посвятить всю жизнь мужу и его творчеству. Все было на удивление хорошо. У поэта появился дом, любящая жена – друг и помощник. Софья занималась его здоровьем, готовила его стихи для собрания сочинений. И была абсолютно счастлива.

А Есенин, встретив приятеля, отвечал на вопрос: «Как жизнь?» – «Готовлю собрание сочинений в трех томах и живу с нелюбимой женщиной».

Он опять отдавался пьяным кутежам, которые нередко устраивал прямо в доме Толстых, где он теперь жил, заводил любовные интрижки с поклонницами. Софья терпеливо сносила все. Есенину самому не нравилась та жизнь, которой он продолжал жить, не нравился и он сам – тот, каким он стал.

«Что случилось? Что со мною сталось? Каждый день я у других колен», – писал он о себе. И отчего-то чувствовал свою скорую смерть:

Я знаю, знаю. Скоро, скоро,
Ни по моей, ни чьей вине
Под низким траурным забором
Лежать придется так же мне.

Это писал 30-летний красавец, недавно женившийся на обожавшей его милой и умной девушке, поэт, чьи сборники разлетались прямо из типографии.

В конце июля Есенин в очередной – и тоже последний раз – приедет в Баку. Приедет вместе с женой, Софьей Толстой. Они будут жить с ней в поселке Мардакяны. Но стихи, которые он здесь напишет, будут посвящены другой – Зинаиде Райх…

Райх с Мейерхольдом часто бывали в доме у известного актера Василия Качалова. Есенин знал об этом и, попав в дом к Качалову, с которым он познакомился в апреле 1925 года, он пишет там одно из лучших своих стихотворений – «Собаке Качалова»:

Мой милый Джим, среди твоих гостей
Так много всяких и невсяких было.
Но та, что всех безмолвней и грустней,
Случайно вдруг сюда не заходила?

Она придет, даю тебе поруку.
И без меня в ее уставясь взгляд,
Ты за меня лизни ей нежно руку
За все, в чем был и не был виноват…

Эти строки посвящены ей, Зинаиде Райх. Как и в «Письме к женщине», здесь – щемящее чувство вины перед ней, нежность и огромная тоска…

В октябре Есенин ложится в больницу и там пишет одно из последних стихотворений, в котором вновь обращается к Зинаиде Райх:

Цветы мне говорят «прощай»,
Головками склоняясь ниже,
Что я вовеки не увижу
Твое лицо и отчий край…

И еще одно стихотворение, обращенное к Райх, полное горечи и сожалений об утраченном былом:

Не все ль равно – придет другой,
Печаль ушедшего не сгложет,
Оставленной и дорогой
Пришедший лучше песню сложит.

И песне внемля в тишине,
Любимая с другим любимым
Быть может, вспомнит обо мне,
Как о цветке неповторимом…

Есенин, не скрываясь, в последних своих стихах называет когда-то оставленную им Райх дорогой и любимой и, конечно же, не лжет. Их история запутана и полна противоречий, но все же это – история любви…

Успешная актриса, жена известного режиссера, Зинаида Райх любила Есенина до конца жизни. И, что поразительно, и Есенин – «охальник и скандалист», как он сам себя называл, пользовавшийся огромным успехом у женщин и менявший их одну за другой, тоже всегда любил Райх – наверное, ее одну.

Это признавал даже циничный, острый на язык Мариенгоф, всегда сильно недо-

любливавший Райх и называвший ее не иначе, как «эта дебелая еврейка», сделавший все для того, чтобы развести ее с Есениным – даже он признавал, что Есенин и Райх никогда не переставали любить друг друга. Вот что он писал об их отношениях: «Кого же любил Есенин? Больше всех он ненавидел Зинаиду Райх. Вот её, эту женщину, с лицом белым и круглым, как тарелка, эту женщину, которую он ненавидел больше всех в жизни, её – единственную – и любил. ...Мне кажется, что и у неё другой любви не было».

В ночь с 27 на 28 декабря Есенина не стало – его нашли повесившимся на веревке от чемодана в ленинградской гостинице «Англетер». Рядом было письмо, написанное кровью: «До свиданья, друг мой, до свиданья...»

О смерти Есенина Мейерхольдам сообщили по телефону. Зинаида с искаженным лицом кинулась в прихожую:

– Я еду к нему!

– Зиночка, подумай...

– Я еду к нему!

– Я еду с тобой...

Райх прошла в спальню, и оттуда донеслись душераздирающие крики. Длилось это долго – она кричала и никак не могла выкричать свою боль...

На похороны Есенина они с Мейерхольдом поехали вместе. В день похорон в Доме печати, где для прощания было выставлено тело Есенина, она была как каменная. Свекровь, которую она в этот день увидела впервые, подойдя к ней, бросила: «Ты виновата!» Видимо, мать понимала любовь сына к этой женщине и его боль и потерянность оттого, что он безвозвратно утратил ее. После они подружатся, будут часто встречаться – горе-то у них было общее...

Всеволод Эмильевич поддерживал Райх около гроба Есенина, когда она кричала: «Сказка моя, куда ты уходишь?», сопровождал повсюду, не спускал глаз – только бы не было срыва, только бы все обошлось...

Райх до последних своих дней не могла забыть Сергея Есенина и всегда испытывала чувство вины за его гибель, считая, что если бы он в те роковые дни не оставался один, он был бы жив... Оттого и не затягивалась «дырка в сердце» – так она ощущала свою боль.

Сама Райх окончила свои дни не менее трагично, чем Есенин. В 1937 году, во время сталинских репрессий, ее муж, Всеволод Мейерхольд, был арестован, обвинен в шпионаже и расстрелян. Через три недели после этого ночью в квартиру Райх проникли двое неизвестных и набросились на нее, нанося ей удары ножом – всего она получила 17 ножевых ран. Они ушли, не взяв ничего в доме, ушли, особенно не скрываясь, по парадной лестнице, вытирая о стены окровавленные руки. Многие факты указывали на то, что это были сотрудники НКВД – дело в том, что после ареста Мейерхольда и закрытия его театра Райх в полном отчаянии написала скандальное письмо Сталину, где попыталась объяснить ему, что Мейерхольд – гениальный режиссер, а он, Сталин, ничего не понимает в театре; очевидно, впоследствии это сыграло свою роковую роль.

Но те двенадцать лет, что она прожила на земле без Есенина, она помнила его. Не вспоминала, а именно помнила. Помнила и любила его всегда – всю жизнь, до самого своего последнего часа. В декабре 1935 года, в десятую годовщину гибели Сергея Есенина, Зинаида Райх подарила свою фотографию Зинаиде Гейман – с дарственной надписью: «Накануне печальной годовщины мои печальные глаза – тебе, Зинуша, как воспоминание о самом главном и самом страшном в моей жизни – о Сергее»...

НАТИГ РАСУЛЗАДЕ

Г О Л Ь Ф С Т Р И М

*Роман-кардиограмма**

Когда сгоришь, что станется с тобою,
Уйдешь ли дымом в небо голубое,
Золой ли станешь мертвой на ветру,
Что своего оставишь ты в миру,
Чем вспомнить нам тебя в юдоли ранней?
Зачем ты в мир пришел? Что пепел скрыл от нас?
А вдруг из пепла нам блеснет алмаз,
Блеснет со дна своею чистой гранью.

Циприан Норвида
(перевод И. Бродского)

Нет, не мемуары, Боже упаси, хотя, по сути, несколько похоже; я всегда побаивался этого слова – «мемуары», особенно в последние лет десять, потому что слово «мемуары» для писателя – это своеобразное подведение итогов, а подводить итоги… всегда хочется сказать – рановато. Пока собираются, копятся материалы, а там, глядишь, и опоздал, проглядел и перешел рубеж, и никаких мемуаров от тебя не осталось… Но есть нечто в жизни любого человека, в особенности – творческого человека, что заставляет его обернуться назад, поразмышлять, вспомнить свое прошлое, сбиться со счета, припомнив совершенные глупости, и понять, что ничему они, эти глупости и ошибки, его не научили, потому что он совершает точно такие же ошибки, но уже на новом, более высоком витке жизни. Скажем так: принявшие новые формы, выросшие из детских штанишек, ошибки и промахи. Однако, хотим мы этого или нет, прошлое живет с нами, стучится в нашу память – откройте! – не желая оставаться забытым, тревожит сердце и порой помогает нам выживать в этом мире, когда сегодняшний день время от времени становится пустым и устрашающим…

Кто не может в полной мере жить настоящим, тот обращается к прошлому, часто приукрашивая его, идеализируя, желая видеть в розовом свете и порой с годами уже не отличая вымысла от давних реальных событий – в большинстве случаев эта истина оправдывает себя; но в то же время необходимо помнить свое прошлое, чтобы идти в будущее, хотя бы частично избавляясь от груза ошибок и просчетов, совершенных в прожитые годы.

Мы можем видеть далеко вглубь нашего прошлого, но нам не дано хотя бы на минуту вперед увидеть то, что предстоит. Может, в компенсацию того Бог и наделил нас способностью не забывать прошлое, каким бы далеким оно ни было? Смотрите назад, а вперед поведу вас Я.

Вспомнить, разбудить, воскресить чувства, запахи, ощущения, которые уже од-

*Журнальный вариант.

нажды, много лет назад, пережил…

Самые яркие детские впечатления, оставшиеся со мной на всю жизнь, трудно характеризовать, как пацифистские. В них много агрессии, я вырос в мальчишеских драках на улице, зарабатывая синяки и шишки, на которые к моим семи-восьми годам моя мама уже не обращала внимания, как почти и все матери в нашем квартале. Мы жили в районе бедняков. Впрочем, богачей в те годы и не было, и слово «богач» считалось чуть ли не оскорблением, а точнее, слово «буржуй», это слово мы, мальчишки, употребляли даже как ругательство. Но дети из бедных, плохо обеспеченных семей, будучи солидарными перед устрашающим понятием «буржуй», все-таки находили разнообразные поводы для антагонистических отношений и частых потасовок и драк между собой; бедность, что ни говори, озлобляла и швыряла тебя в жизнь озлобленным и готовым к отпору.

Но все-ж таки были у людей кое-какие накопления, сбережения, и, естественно, в стране работали сберегательные кассы (не путать с банками), народ постепенно умнел, становился практичнее, уже не кичился своим пролетарским происхождением и не старался его выпячивать, где только можно, не гордился тем, что в плохо отструганном, напоминавшем гроб шкафу у него всего лишь один костюм и две застиранные рубашки; природное чувство собственника, присущее человеку со времен неандертальцев и до сего дня, измордованное пропагандой всеобщей коллективизации в одной отдельно взятой и самой «правильной» стране мира, постепенно просыпалось в душах многих и уже не хотело засыпать; покупали, стало быть, приобретали, но с оглядкой, да, с оглядкой, чтобы не перестараться, не попасть в рискованную категорию «буржуев», что могло повлечь за собой опасные последствия. За всем и вся зорко следили те, кому досталось в удел зорко следить.

Я с малых лет, еще до посещения школы, любил лепить, сначала материалом служил пластилин, который в то время продавали во всех магазинах канцелярских товаров, потом – уже после того, как я показал неплохие результаты, – в ход пошли глина, гипс. За моими работами следил дядя, двоюродный брат моей матери, известный в городе художник, и поощрял меня в моем пристрастии, а родителям делал в отношении меня радужные прогнозы, заставлявшие их верить словам профессионала о том, что из меня выйдет толк, и со временем я смогу стать настоящим скульптором. Эти заверения известного художника были как бальзам на души моих родителей, потому что они видели, как хорошо и в достатке, по сравнению с обычными людьми, живут люди творческих профессий: писатели, художники, композиторы… И были рады, что во мне неожиданно проявились способности творческой личности, и всячески поощряли меня. Тогда развивали активную деятельность различные секции в Домах пионеров, если вам это о чем-нибудь говорит, и детей, в которых временно вселился какой-либо созидательный бес, родители приводили в этот дом, где с детьми занимались преподаватели, из кого-то готовили шахматистов, из кого-то – художников… Я стал посещать этот Дом пионеров, хотя дошкольников туда не принимали, но тут замолвил словечко мой дядя, и очень кстати оказалось, что молодой художник, возглавлявший секцию живописи и скульптуры, был его, дядин ученик. Я учился там лепить и рисовать (рисунок давался мне хуже, чем лепка). Отводил меня отец, я шел с ним по улице, держась за его указательный палец, временами закидывал голову, смотрел ему в лицо снизу вверх и чувствовал, что отец гордится мной чуть ли не как особо одаренным ребенком, вундеркиндом. Это мне было приятно, но, с другой стороны, и страшновато оттого, что я могу не оправдать его на-

дежд; то, что он гордился мной, налагало на мои мальчишеские плечи определенную ответственность, мне казалось, что я во что бы то ни стало должен оправдать его надежды, изо всех сил напрячься и стараться, чтобы он и дальше мог гордиться мной; это ограничивало мою свободу, моё желание делать всё, что взбредёт в голову, мою детскую склонность к мечтаниям и безделью и, главное, мое тайное желание, присущее всем ленивым людям: ни за что не нести ответственности. Ответственности я боялся, боюсь до сих пор.

В маленьком дворике нашего дома, где проживало несколько семей, под лестницей, ведущей на второй этаж, было крохотное, уютное ничейное местечко, будто нарочно напрашивавшееся на мастерскую начинающего малолетнего, но полного амбиций скульптора. Соседи, прослышав о моем умении и сначала убедившись, что работы мои на самом деле «похожи» на оригиналы (я вылепил разных зверушек, и пиком творчества на тот момент была фигура раненой лошади, вместе со всадником лежавшей на боку), стали помогать мне: кто-то раздобыл расшатанный, плохо сколоченный из необструганных досок столик, на котором можно было лепить фигуры, кто-то пожертвовал ненужный тазик, необходимый для смачивания глины… Отец тоже активно участвовал в деле становления юного скульптора: он достал мне мягкой, прекрасной, светлой глины, специально для этой цели поехав куда-то за город. И я стал лепить. Я получал несказанное удовольствие от своего дела еще и потому, что постоянно находился со своим рукодельем (пока иначе это трудно было назвать) в центре внимания взрослых людей. Соседи, большей частью соседки, проходя по своим делам через дворик, задерживались на минуту, смотрели, подчеркнуто восхищенно ахали, цокали языками, хвалили…

Но улица, та улица, где я жил, в лице моих сверстников и мальчишек постарше, не воспринимала творчество малолетки, не верила, отвергала и не упускала случая поиздеваться: люди тут были простые, и ни у одного мальчика отец или мать не были ни художниками, ни какими бы то ни было другими деятелями искусства, и на меня стали смотреть косо, как на белую ворону, а на мои работы – как на стремление отличиться, выделиться из их среды.

Однажды я вылепил из глины голову заколдованного богатыря из сказки Пушкина «Руслан и Людмила»; мама, прочитав мне вслух сказку, показала иллюстрацию из книги сказок Пушкина, мне она очень понравилась, красочная, яркая – печальная голова доброго богатыря, торчащая из земли. Мама читала мне стихи и сказки из книги, а закончив чтение, эту книгу по привычке с шумом захлопывала. В раннем детстве я каждый раз вздрагивал, когда она так делала: я опасался, что слова и предложения в книге, так красиво расположенные, перемешаются, и в следующий раз, когда мама откроет книгу, чтобы перечитать, фразы и строчки уже будут расположены по-другому, уже будут не так прекрасны. Я высказал, как умел, свои страхи маме, она отнеслась серьезно к моим словам и сказала:

– Не надо бояться, эти слова написаны крепко, и в книге они держатся надежно. Не перемешаются.

И вот я стал лепить образ богатыря из сказки; я вложил в свою работу всю душу, долго трудился, все – как настоящий профессионал – был недоволен сделанным, несколько раз переделывал, и вот, наконец, решил, что работа закончена; я готов был показать её взрослым, в особенности моему дяде-художнику, мнение которого я уважал, который мне много помогал советами и даже подарил деревянный стек из самшитового дерева и показал, как им пользоваться. Да, работа была готова,

мне уже нечего было переделывать, я был доволен: вот голова в богатырском шлеме надула щеки, чтобы сдуть, как песчинку, дерзкого всадника, потревожившего её покой; сердитый взгляд из-под насупленных бровей, длинные, лежащие на земле пряди волос, как я видел на картинке в книге, одним словом – голова вышла как живая. Пришел дядя, посмотрел, похвалил, он никогда особенно не хвалил мое увлечение мне в лицо, а свои соображения высказывал маме и прочил мне будущее настоящего скульптора. На этот раз дядя не только похвалил мою работу, но и делом доказал, что очередной мой труд ему на самом деле понравился: он взял мою скульптуру с собой для обжига и обещал принести в ближайшее время. Это для меня была неожиданная честь, сам известный художник мне, шестилетнему мальчику, оказывает такую, на мой мальчишеский взгляд, неоценимую услугу. Я был на седьмом небе от счастья и весь этот день ходил, будто летал, даже не хотелось выходить из дома, со двора, где находилась моя «мастерская»; я как голодный котенок вокруг сметаны ходил вокруг стола со своими работами и гордо посматривал на них; не хотелось поиграть на улице с ребятами, я так и этак перекатывал в сердце, задыхающемся от радости, свое хрупкое счастье, не желая ни с кем делиться, чтобы не растратить его на людей, абсолютно ничего не понимавших в ваянии, и не разочароваться.

Я весь был захвачен, наполнен своим творением, даже плохо спал несколько ночей и, пользуясь тем, что стояла ночная летняя жара, что не мешало родителям крепко спать, выходил во двор к своему рабочему столику, заменившему мне верстак, и в темноте подолгу вглядывался в надувшую щеки голову богатыря, следившего за мной разъяренным взглядом, будто это я метнул в него копье. Взгляд, сопровождавший смотревшего на скульптуру, у меня получился случайно, а когда получился, поразил меня, и я хотел понять, как это вышло, для меня это было как фокус, который ребенку неожиданно удалось повторить за взрослым фокусником. Одним словом, я так был влюблен в свою удавшуюся работу, что долгое время после неё не притрагивался к глине, не мог «творить», видимо, подсознательно боясь, что ничего лучше этого «творения» уже не получится.

А глиняная голова с надутыми щеками оставалась на старом расшатанном столике под лестницей во дворе вместе с другими моими работами, выдержавшими испытание критикой дяди-художника; соседи привыкли к фигуркам на столе под лестницей и уже, проходя мимо, не обращали на них внимания, и жизнь в маленьком нашем дворике шла своим чередом, в том числе и моя мальчишеская жизнь. Я стал опять бегать на улицу, как до моего увлечения, временно оторвавшего меня от ватаги озорников, опять продолжились шумные игры, драки, примирения и ссоры, потом уж очень как-то скоро пролетело лето, как оно обычно пролетает, в отличие от других времен года, когда тебе всего шесть лет, и пришла мне пора идти в школу.

Однажды, возвращаясь из школы, я в нашем дворике, дверь в который запиралась только на ночь, обнаружил своего давнего заклятого врага – мальчика, с которым то и дело выяснял отношения; он был на год старше меня, но почему-то в школу не ходил, говорят, у него была мачеха, которая во всем потакала его желаниям и в итоге избаловала безбожно, стараясь доказать, что она может быть для него не хуже родной, умершей несколько лет назад матери. Сердце мое сжалось в недобром предчувствии, когда я увидел его, стоящего возле моего рабочего стола, уставленного самыми лучшими моими работами, над которыми я старался все лето, тогда как другие ребята проводили невыносимо жаркие дни на дачах, в гостях у своих родственников, на берегу моря, и могли купаться в море, которое я безумно любил.

Мальчик, увидев меня, с тихим злорадным смешком проскользнул мимо и выбежал на улицу; в руке за спиной он что-то прятал от меня, и когда, медленно соображая, охваченный ужасным предчувствием, я с опозданием кинулся за ним, было уже поздно: он, сидя на корточках и гнусно улыбаясь, методично стучал о край тротуара моей лучшей работой – головой витязя в шлеме, и несколько кусочков хрупкой скульптуры уже отломилось и посыпалось на землю. Я был взбешен, я впервые испытал на себе, что означает выражение «кровь кинулась мне в голову»; с диким криком, испугавшим мальчика, я бросился на него, но ему удалось ускользнуть, он швырнул в меня изуродованной фигурой и пустился бежать. Ярость застилала мне глаза, я в первый раз в жизни сталкивался с тем, как может быть дорог человеку его труд, в который он вложил свое сердце, свою душу и малые пока свои способности; как дорого человеку может быть то, над чем он мучился и искал, над чем вознеслась, взметнулась его фантазия, раскинув свои волшебные крылья, то, что в его короткой мальчишеской жизни удачно получилось и чем он гордился. Я, плохо видя от слез, застилавших мне глаза, наконец настиг его, изо всех сил схватил первое, что попало под руку, кажется, это была нога убегавшего вора, и тут же намертво вцепился зубами в эту ненавистную ногу – часть больше всего на свете ненавидимого в эту минуту существа; вцепился, будто стараясь оторвать кусок ноги, как зверь, вонзивший зубы в свою жертву. На его истошный крик сбежались соседи с улицы. Все, кроме моей матери – мои родители никогда не вмешивались в детские конфликты, которые случались с утра до вечера на нашей богоспасаемой улице. Зато очень активно вмешалась мачеха моего лютого врага. Я, охваченный волной ненависти и страстным желанием уничтожить обидчика, очнулся, как от забытья, оттого, что взрослая женщина, нависшая надо мной, азартно хлестала меня по щекам, доказывая тем самым всем соседям, как горячо она любит своего пасынка. Это меня несколько отрезвило, и мужчинам наконец удалось разжать мои зубы, вцепившиеся в ногу обидчика, и отвести меня подальше от воющего от боли мальчика.

На этот раз скандал был крупный, я даже сквозь брюки прокусил до крови ногу соседского мальчика, и его мачеха, не удовлетворившись многочисленными пощечинами мне, приходила жаловаться моей матери, и жаловалась крикливым, истеричным голосом, перемежая нормальные, бывшие в употребление слова, с бранными, что вполне соответствовало её воспитанию и образу жизни. Тем не менее, я был наказан. Мама всегда меня наказывала и почти всегда в первую очередь винила меня, не очень вникая в подробности. Это, конечно, было обидно. Но у неё был один аргумент, который в данном случае не срабатывал, однако она его приводила всегда, привела и на этот раз: «Надо было подальше держаться от него». И я не мог ей объяснить, что не мне, а моему врагу надо было подальше держаться от меня, что я только защищал свою работу, то, над чем долго трудился, то, во что вложил душу и чем гордился, то, что он уничтожил, и потому я не мог подальше держаться от него, а наоборот – должен был как можно ближе держаться к нему, чтобы отомстить, потому что иначе моё маленькое сердце могло бы разорваться от обиды.

Подобное происходило впервые со мной, позже я понял, что когда люди непонимающие, злопыхатели и дилетанты уничтожают твою работу, созданную и продиктованную настоящим вдохновением, это все равно, что убивают частичку тебя, твоей души, и это нельзя принимать равнодушно, надо бороться.

И вот теперь, когда мне уже немало лет и детские воспоминания становятся все ярче и ближе, я веду исчисление годов своей сознательной жизни именно с того вре-

мени, когда я еще неясно, еще не умом, но сердцем точно понял, что самая страшная и жестокая обида для творца (не побоюсь этого высокого слова), для созидателя – это когда разрушают, перечеркивают, уничтожают его творение, потому что убивают его самого.

Мне исполнилось семь лет.

Я не стал скульптором. Теперь я думаю: может, в том, что я не стал продолжать свои занятия лепкой, так удачно начатые, сыграло свою роль еще и поразившее меня сознание того, как хрупко и ненадежно то, что требует много труда и сердца, а в итоге может сломаться, рассыпаться, исчезнуть в одну минуту. Я не стал скульптором, но не считаю свою профессию писателя менее достойной, мы все стараемся создать образ Бога, найти Истину, кто словами, кто посредством глины, кто красками…

Как Бог создал Вселенную, так и писатель, создавая свою собственную Вселенную, становится в ней маленьким Создателем, отделяя тьму от света, воду от суши, добро от зла, творя людей по образу и подобию своему, даря им жизни и поступки, любовь и ненависть, слова и веру; и потому творческая личность, писатель, во время работы, когда он старается создавать, созидать, гораздо ближе к Богу, чем многие верующие, во время молитвы машинально произносящие одни и те же слова, смысл которых постепенно стирается из их сердца…

Время – середина прошлого века. Дети в те годы развивались медленно, и, в отличие от наших дней, школа, учителя, родители не старались сделать из семилетних малышей вундеркиндов; я помню, в первом классе чуть ли не полгода мы учились правильно выписывать буквы, рисовали всякие примитивные фигуры, палочки и прочее, что не слишком способствовало стремительному интеллектуальному развитию ребенка, но позволяло ему наслаждаться – насколько возможно – своим детством. И когда на таком всеобщем фоне у меня вдруг прорезалась способность фантазировать и сочинять сказки, которые я охотно рассказывал своим однокашникам, лукаво стараясь выдать за профессиональные народные сказки, это произвело маленькую сенсацию в школе: а вот мальчик-первоклассник, который сочиняет сказки! У него отличная фантазия! Я стал в некотором роде достопримечательностью школы, на меня оглядывались, сверстники не знали, как ко мне относиться, порой задирали, что моментально заканчивалось дракой, порой поглядывали с недоумением. И то, и другое отдаляло меня от моих одноклассников.

В стремлении придумать нечто совсем уж фантастическое, недоступное пониманию товарищей, чем мог бы потом гордиться и тайно лелеять неизведанное пока чувство (вот, мол, вы не понимаете, не доросли, а я придумал!) и отдаляться все дальше, будто совершая сладкую месть, оставлявшую горький осадок в мальчишеской душе моей, я часто перегибал палку и наговаривал всякую чушь и ахинею с умным и серьезным видом, что сбивало сверстников с толку, и они отходили от меня в растерянности, или же я получал по шее, чтобы не выпендривался: ведь всегда находился кто-то более здравомыслящий среди толпы.

Я оставался одинок и все больше замыкался в своем одиночестве, играя в детские игры в своем воображении, в вечности, но не в конкретном времени.

Лепить я бросил, как-то так получилось, что это увлечение постепенно остыло во мне, сошло на нет, и, охваченный новой «способностью», я не очень жалел и не задумывался о потерянном «даре», даже несмотря на несбывшиеся пророчества дяди-художника, которого долгое время после того, как я забыл свое мальчишеское увлечение, я не мог видеть без угрызений совести.

Но тень этого ремесла еще некоторое время преследовала меня, не по моей вине и не потому, что было оно особенно сильным во мне. На нашей улице, в соседнем доме, на первом этаже, в квартире, окна которой выходили на улицу, где я часто бывал бит, жила девочка. Она училась в нашей школе, на три класса старше меня, и была в моем понимании красавицей: русые обильные, всегда красиво уложенные волосы, голубые глаза, четкие черты лица. Мне она очень нравилась. Она занималась лепкой и тоже ходила учиться лепить и рисовать в Дом пионеров, куда недолгое время ходил я.

Я влюбился в неё, как только мог влюбиться семилетний мальчик, живущий своими мечтами. Её красота резко отличалась от красоты школьниц-смуглянок, которых и было подавляющее большинство в нашей школе; мне так и казалось, что большинство это было именно подавляющим, и русская девочка, непохожая внешностью на них, была как-то отстранена, одинока, как и я, и не вписывалась в щебечущую стайку девчушек. Но это опять же было плодом моей неуемной фантазии, мешавшей мне и тогда, и после, через много лет, жить нормальной жизнью и воспринимать жизнь во всех её реалиях. Кстати, и русских, и девочек и мальчиков других национальностей в нашей школе, как и во всем нашем городе, в те годы было немало. Просто мне так мечталось, очень хотелось, чтобы она чувствовала себя одинокой и нуждалась бы в понимании и поддержке со стороны мальчика младше неё, что само по себе было фантастично, потому что третьеклассники, как говорится, в упор не видели нас, первоклашек, особенно девочки из третьих классов, разница в два года была в этом возрасте огромна и как пропасть лежала между нами. Но мечты мои о её отстраненности и одиночестве были тут же, на глазах, разбиты вдребезги – она как раз очень дружила со своей одноклассницей, явной её противоположностью по внешности, смуглой дурнушкой, и они обе довольно часто вместе возвращались из школы и что-то лепили из пластилина на подоконнике окна, выходившего на нашу улицу, где после уроков я околачивался, следя с открытым ртом и горящими глазами за своей возлюбленной, за каждым её жестом, за тем, как она откидывает на спину русую косу, как тыльной стороной испачканной руки чешет нос, как улыбается своей подружке, опустив глаза и что-то смешное – явно в мой адрес – рассказывая, отчего и подружка её начинает с презрительной ухмылкой рассматривать меня, стоящего в двух шагах под окном, как рассматривают насекомое под микроскопом, и потом, рассмотрев хорошенько, обе разражаются обидным, оскорбительным смехом. Но я все равно был счастлив, что вижу её, что могу наблюдать за её жестами, улыбкой и потом долгое время вспоминать все, что видел. Обычно, когда они нахально разглядывали меня, я отводил глаза, потом, улучив момент, когда, казалось, они забыли о моем пребывании под окном, я снова жадно наблюдал за соседской девочкой, а потом наедине даже повторял некоторые её жесты, будто перевоплощаясь в неё, находя в этом непонятное удовольствие.

Однажды, когда я так стоял и наблюдал за ними, в основном, конечно, только за ней, объектом моей любви, девочки, пошептавшись, вдруг обе разом высунулись из окна, и моя голубоглазая соседка неожиданно позвала меня:

– Иди сюда, мальчик, поднимайся!

Я сначала даже не понял, не мог поверить, что она зовет меня, что она впервые обратилась ко мне с какими-то словами. Я на всякий случай оглянулся, ища того счастливчика, кого она звала.

– Да, ты, ты! – показывая на меня пальцем, уточнила она, чтобы я не сомне-

вался. – Иди, заходи к нам.

У меня моментально пересохло в горле, и я ничего не мог сказать в ответ. Но надо было что-то делать, чтобы не выглядеть совершенным малолетним идиотом, и я, пересилив охватившую меня робость, на деревянных ногах вошел в маленький, остро пахнувший кошачьей мочой подъезд, споткнулся на двух ступенях и подошел к дверям моей любимой девочки. Дверь была распахнута, и на пороге она ждала меня. Она несколько театральным жестом, которым, наверное, обращаются к королям, подчеркнуто издевательски приглашая меня войти, показала в глубь комнаты, на подоконник, уставленный пластилиновыми фигурками.

– Ты, кажется, тоже занимался в кружке лепки? – сказала она.

Я кивнул.

– А разве таких малявок записывают в секции? – спросила её чернявая подруга.

Я кивнул.

– Ну, что? Посмотри. Тебе нравятся наши работы? – спросила она.

Я кивнул.

– Он что, немой? – спросила подруга.

Я машинально кивнул. Девочки рассмеялись.

– Теперь мы будем лепить тебя, – сказала подруга. – Твою роскошную голову. Подставь голову.

Я подставил.

Она не оговорилась, голова моя и вправду была роскошная, потому что я ненавидел, когда отец водил меня к парикмахеру, каждый раз это заканчивалось громким скандалом, и чтобы провоцировать подобные скандалы как можно реже, меня редко водили стричься, в результате у меня, в отличие от сверстников, отросли длинные волосы, что делало меня совсем непохожим на школьника и еще больше отдаляло от компании однокашников. Но волосы были очень красивые, я гордился ими и часто встряхивал своей шевелюрой, и даже директор школы, пожилая женщина, както сделав мне замечание насчет отросших волос, заглядевшись на мою не по возрасту пышную шевелюру, улыбнулась и не стала настаивать, оставила меня в покое.

– Ну-ка, подставь голову, волосатик, – сказала подруга моей соседки, – не стесняйся.

И тут же налепила мне на волосы изрядный кусок теплого от её рук пластилина. Они поочередно, кусок за куском, налепляли мне на голову пластилин, а я молча, зачарованно следил за своей любимой, за её чудными, прекрасными руками, за её смеющимися глазами, лукаво поглядывавшими на меня. Пластилин слабо, как обычно, пах керосином, это был вполне привычный запах для нас в те годы, потому что за углом располагалась керосиновая лавка, и наши матери ходили туда почти ежедневно покупать керосин для плиты, на которой готовили обед. Но мне казалось, что прежде всего пластилин на моих волосах источал запах её рук, её нежных, тонких пальцев; мне легко было обманывать себя – ведь любовь во все времена и во всех возрастах видит и слышит только то, что хочет видеть и слышать… Сейчас бы я сказал, что руки у неё были слишком большие и грубые для её возраста: руки её отца-пролетария и матери, работавшей в общепитовской столовой, но тогда она казалась мне феей… Слезы обиды душили меня, но я не сопротивлялся, думая, что доставляю удовольствие девочке, а за одно это – что пластилин в волосах! – мне казалось, я мог бы отдать свою маленькую, только начатую жизнь.

Последовал грандиозный скандал. Дома, стараясь избавиться от пластилина в

отросших волосах – что оказалось вовсе не легко и вообще мне не по силам, я не издал ни звука даже тогда, когда к этому мучительному процессу подключилась мама, одновременно пытая меня с пристрастием (многочисленные подзатыльники) и угрожая всю неделю не выпускать из дома после уроков, если не признаюсь, кто это со мной сделал. Но тут я был тверд, хоть слезы боли и обиды текли по щекам. Я упорно и тупо повторял, что сделал это сам, понимая, что ни один нормальный человек такому не поверит. До конца и мама не справилась, и куски пластилина оставались на голове, превратив мои красивые волосы в какие-то жуткие веревки, и потому за дело, вернувшись с работы, взялся отец – он попросту сводил меня к парикмахеру, и тот, не долго думая, обрил мне голову наголо, хотя до лета, когда брили головы мальчишкам нашей улицы, оставалось еще немало. И тут я вновь стал непохож на остальных, но теперь уже гордиться мне было нечем. В школе каким-то образом узнали про пластилин, что налепляли мне на голову девочки (думаю, что чернявая подруга моей голубоглазой соседки постаралась), и некоторое время надо мной жестоко издевались. Я бросался в драку с обидчиками, но понимал, что они, наверное, вправе потешаться надо мной, потому что повел я себя тогда, надо признать, как настоящий олух. Однако чувство не сразу остыло во мне, и еще некоторое время после этого я продолжал любить девочку, что лепила из пластилина на подоконнике, видел её фрагментарно во сне (рука, пальцы, мнущие пластилин, насмешливый взгляд, завитки красивых волос – о, мои утраченные волосы!). Я был влюбчив, необщителен, угрюм и не любил разговаривать без особой необходимости. Разве что, за исключением тех случаев, когда вешал лапшу своим одноклассникам, придумывая сказки и нахально выдавая их за «настоящие».

Учиться в школе было совсем нетрудно, и надо было очень постараться, чтобы получить плохую оценку, высшие баллы сыпались на нас, как манна небесная, и до шестого класса я был отличником, как и многие другие. Теперь, когда я смотрю на своих внуков, стараюсь помочь внучке в первом классе готовить уроки, мне кажется, что тот далекий я, что был много лет назад её ровесником, попросту учился в школе для слаборазвитых детей. Время, конечно, стремительно шагнуло вперед, скакнуло, я бы сказал, но все же мне жаль порой, что лучшие детские годы малышей уходят на приобретение знаний, многие из которых им мало пригодятся в жизни.

Когда мне исполнилось двенадцать лет, отец купил маленькую дачу, и двенадцатое лето своей жизни я провел на нашей новой даче. Она была далеко от моря, надо было ехать на электричке две остановки и выходить на станции «Приморская», прямо напротив пляжа; езда порой отнимала немало времени, потому что электропоезда ходили неаккуратно, подолгу стояли на станции, непонятно, чего ожидая (говорили: «ждет встречного», но мне все равно было непонятно, зачем так долго надо ждать встречного поезда, а папа объяснял – чтобы поезда не столкнулись на линии, но все равно такое объяснение меня не удовлетворяло, хотелось поскорее оказаться на пляже и не жариться под раскаленной крышей в вагоне), я был нетерпеливым, как многие мальчишки, но море, о котором я мечтал, чтобы можно было каждый летний день проводить возле него, в нем, на его берегу (и не так часто за двенадцать лет представлялась такая возможность, разве что ездили в гости к тете, к моим двоюродным братьям, дача которых находилась совсем близко – минут пять пешком – от моря), теперь вознаградило все мои ожидания: у нас наконец-то была своя дача, и наконец-то, если и не каждый день, то достаточно часто можно было ездить на пляж, к морю, и не надо было для этого гостить у родственников, что мне не очень-то нра-

вилось, все-таки я полностью должен был ощущать себя как дома, хотя даже там, благодаря родителям, у меня не было полной свободы, а больше всего на свете я ценил свободу, с малых лет и до сих дней, когда пишу эти строки.

– Свободен! – закричал путешественник, попав на необитаемый остров.

– Свободен! – радостно произнес старый зэк, возвратившись за очередное преступление обратно в зону, где провел почти всю жизнь.

– Свободен! – завопил мужчина, разведясь с женой.

У каждого свое понятие свободы, у каждого она своя, свобода, и что бы ни говорили, достигнув её, своей давно лелеемой цели, человек становится временно счастлив. А это немало.

Лето проходило на даче, можно было ездить на море гораздо чаще, чем раньше, когда у нас не было дачи, но я был не дачный человек, мне не нравилось ходить по горячему песку босиком, мне нравилось ходить по улицам в туфлях, и чтобы туфли эти поскрипывали, а каблуки постукивали; дачные новшества очень скоро начали угнетать меня, видимо, потому еще, что на даче я не мог полностью уходить в себя, в свой мир, как в городской квартире, когда меня оставляли в покое – на даче многое отвлекало, многое надо было делать по указке взрослых (вскопай грядку, полей кусты роз, полезь на дерево, нарви абрикосов, потряси тутовник, набери в простыню, и прочее, прочее), и реальность была ярче и нахально лезла в глаза, мешая уходить в мечтания, порой совершенно нелепые, оторванные от реальной жизни, так что, исподтишка, незаметно наблюдая, как я говорю сам с собой, размахиваю руками, уйдя в свои непонятные игры и никого вокруг не замечая, отец находился в полной уверенности, что из сына вырастет настоящий ротозей и олух.

Мне было тринадцать лет, когда на день рождения отец купил мне велосипед. Это не было сюрпризом, до этого мы с ним несколько дней после работы отца ходили по спортивным магазинам и выбирали, я любовался, примерялся, восхищался; выбор меня несколько озадачил, я думал, что, как и многие другие товары в то время, не баловавшие покупателей разнообразием, велосипед также должен быть одной марки во всех магазинах спортивных товаров. Но оказалось, что было несколько видов, и я растерялся, потому что все эти несколько видов мне очень нравились, но, наконец, я остановил свой выбор на одном – велосипеде «Турист». Я сам тряпкой, что дал мне продавец, протер спицы, избавив их от смазочного масла и заставив блестеть на солнце, накачал шины, смахнул пыль с сиденья, похожего на морду гончей собаки, держась за изогнутый руль, вывел его из магазина (на волю, на волю, велосипед!), погладил, как живое существо, сел в седло и покатил по полупустой улице, позабыв, что со мной отец, позабыв обо всем на свете от охватившего меня острого чувства счастья. Я еще не до конца верил своему счастью, не верил, что велосипед, на котором я сижу, педали которого вращаю, красиво изогнутый руль сжимаю вспотевшими ладонями – мой, мой, и я могу кататься на нем, когда пожелаю, ни у кого не спрашивая разрешения. До этого я катался на велосипеде. У нас на улице был у одного мальчика велосипед, и время от времени, когда у него было хорошее настроение, он давал покататься другим, в том числе и мне; но чаще давал он велосипед небескорыстно – молодому долговязому мороженщику, который привозил мороженое в тележке на громыхающих по булыжной мостовой подшипниках, а за прокат платил товаром, то есть мороженым. Вот такой был практичный мальчик, хозяин велосипеда. Так что кое-какой опыт езды на большом велосипеде у меня был. Но отец этого не знал и встревоженно, но молча махал мне рукой, чтобы я вернулся.

Я стал ездить с дачи на пляж на велосипеде. Конечно, родители, в первую очередь, мама, возражали, опасаясь аварий (какие аварии, полторы машины на улице, тем более, на сельской улице), в которые я мог бы попасть, различных инцидентов, все-таки я был всего лишь тринадцатилетним подростком. Но какое это было удовольствие! Я до сих пор отчетливо помню острое чувство счастья, что уколами вонзалось в мое обливающееся горячими волнами радости сердце, когда, крепко держась за изогнутый руль велосипеда, я, согнувшись пополам, нажимал на педали, наращивая скорость, воображая, что участвую в велогонках и одного за другим обгоняю соперников, любовался стремительно пролетавшими внизу серебристыми спицами, сливающимися в один сплошной круг, слышал приятный шорох хорошо накачанных шин по земле, и горячий июльский ветер бил мне в лицо, на котором блуждала рассеянная улыбка…

Эти редкие островки радости, настоящей радости, когда чувствуешь себя счастливым на короткое время, как и островки печали, живут с человеком всю жизнь, особенно если это островки из далекого детства. Потом в жизнь взрослого человека вносятся коррективы, жизнь становится скучнее, все меньше светлых островков, все больше темных, мрачных, все больше проблем, жизнь сталкивает нас с такими людьми, которых и людьми назвать затрудняешься, и когда хочешь разбудить в них давние воспоминания, они недоуменно смотрят на тебя или же вспоминают сюжет, но никак не чувства, которые давно в них омертвели…

Но это потом, потом, все это еще предстоит, а пока, как говорится, безмятежное детство, и такая же юность. Хотя, как можно назвать безмятежной пору, полную тревог и волнений… Многим кажется, что детство и отрочество их прошли вполне спокойно, без каких-либо проблем и треволнений. Что ж, бывает и такое, но если глубже вникнуть и вспомнить детские годы, то у каждого найдутся тайные страхи, жуткие сны, будившие среди ночи, и многое, многое другое, что, вдруг вспоминаясь, тревожило посреди детских игр…

Мальчуган я был весьма впечатлительный, и то, что оставляло впечатление – независимо, позитивное или негативное, оставалось со мной надолго, так что вынуждены были вмешиваться родители. Вмешивалась обычно мама.

Однажды она свела меня к женщине, которая, как утверждали, снимала порчу, устраняла последствия испуга, снимала сглаз, в общем, завоевала популярность всякими такими делами, которые в те годы занимали умы многих женщин-домохозяек. И, как ни странно, до сих пор занимают, и не только домохозяек.

Теперь я часто замечаю – далекие детские страхи и кошмарные сны находят свое отражение в моей работе сегодня, в моих книгах, они, как притаившиеся скорпионы, ждут удобного момента, подходящего произведения, чтобы выпустить жала и поразить вполне нормального персонажа, который вдруг по ему самому не понятным (а тем более мне, автору) причинам перевоплощается в монстра, внутренне, конечно, не внешне, но, превратившись в чудовище, начинает незаметно пожирать себе подобных, ограничивает свободу окружающих, не дает жить, не дает дышать. Подобные кошмарные явления встречаются в жизни, это естественно, потому что жизнь полна такими сюжетами, что трудно вообразить, многими непостижимыми поступками и действиями людскими; но, перейдя в мои рассказы, придя из далекого детства, страхи которого еще не полностью покинули меня, они поглощают частички моей души; что поделать – мы живем среди них, и не показывать их означало бы отворачиваться от жизни, где есть место всему: и жуткому, и радостному.

Так вот, посчитав меня слишком нервным и эмоциональным и прислушавшись к мнениям сердобольных соседок, мама решила повести меня к женщине – сейчас её, скорее всего, назвали бы экстрасенсом, – снимавшей испуг, потому что мама считала, что именно после какого-то жутковатого сна я стал таким взвинченным, пугливым, склонным к легким депрессиям. Кстати, слово «депрессия» в те годы не было в ходу, оно еще не вошло в моду, и говорили просто: у него нет настроения, или – что-то он в последнее время слишком невеселый.

Городской трамвай, неизвестно каким образом застрявший посреди огромной заснеженной степи далеко от города, и никто не может вразумительно объяснить главному герою, как они очутились тут, неподалеку от леса, где обитают волки-людоеды и куда, как в кошмарном сне, обязательно следует отправиться на верную смерть, чтобы – если удастся – выжить. Старушка-колдунья величиной с палец, завернутая в носовой платок внучки, такой же гарпии, вдруг вырастающая до обычных человеческих размеров и лишающая воли героя рассказа. Прохожий, заблудившийся на знакомых улицах в зимней ночи, встретивший на беду свою нескольких похожих, как близнецы, убийц, тихо преследующих его. Дом, заселенный невменяемыми, оторванными от реальной жизни, куда привез главного героя поезд, летящий в ад. Все это и многое другое, не очень понятное обычному читателю-обывателю, при здравом размышлении имело свое начало много лет назад, еще в детских снах, от которых я просыпался в холодном поту.

Я воображал старую каргу с крючковатым носом – трафаретный портрет колдуний, но оказалось, что женщина, к которой мы пришли с мамой, очень добродушная, улыбчивая, говорливая особа, сразу же начавшая с того, что стала потчевать нас чаем с вишневым вареньем собственного изготовления. Она то и дело гладила меня по голове, приговаривала что-то ласковое, будто успокаивала, готовя к чему-то страшному, усыпляла мою настороженность. Я, склонный в эту минуту все видеть в черном свете, так и понял её обхаживания и еще больше испугался перед предстоящим, еще не зная, чем. Женщина, не переставая улыбаться, уложила меня на продавленный диван, накрыла белой, свеже пахнувшей простыней, через которую я смутно видел фигуру мамы, сидевшей за столом; посыпала на простыню кусочки ваты и, что-то мурлыча, непонятно кому адресованное, неожиданно подожгла вату на простыне. Огонь быстро пробежал по кресту из ваты. Я вздрогнул и, кажется, закричал от испуга.

Как ни странно (теперь, с позиции взрослого человека, привыкшего снисходительно относиться ко всякого рода гадалкам и ворожеям), колдунья… – я так её прозвал, когда узнал, что мы с мамой отправляемся избавлять меня от последствий испуга, «не называй её так, не то она может обидеться, – предупреждала меня мама, – какая она колдунья, это просто одна очень добрая женщина, которая помогает людям» – излечила меня, и частые по ночам крики во сне (когда я просыпался в холодном поту и не помнил, что мне снилось, потому что ужас во сне был расплывчатый, не конкретный, рожденный из тумана; была атмосфера надвигавшегося как темная лавина ужаса, которую нельзя было описать и объяснить другим) прекратились, так же, как мои детские кратковременные беспричинные истерики, ненормальные приступы длительного молчания – я будто прислушивался к себе в тревожном ожидании чего-то, что должно было с минуты на минуту обрушиться на меня – все это прекратилось, к великой радости мамы, и она всем соседкам рассказала о чудодейственных способностях «колдуньи».

Сейчас, когда прошло много лет с детства, порой так хочется, чтобы проблемы, неприятности, невзгоды в моей жизни решались бы так же легко, чтобы чья-то добрая рука мгновенным испугом, как вспышкой, избавила меня от всякой нечисти, страхов, ужасов, что несет с собой жизнь среди ненастоящих людей. Я стараюсь избегать контактов с такими людьми, стараюсь прятаться в работе, но жизнь, обстоятельства каждый раз вытаскивают меня на свет Божий, встряхивают и бросают в ненавистную среду.

Вспоминаю слова Кафки: «Зачем вы делаете вид, что вы настоящие?..»

Вот сейчас, чуть ли не последние лет сто, в литературе стало немодным и отжившим начинать произведение с описания природы, как раньше начинали свои романы классики. Что ж, это можно понять – ведь современный человек так отдалился от природы, что даже стал активно уничтожать её, как злейшего врага. Но природа – наше детство, именно в ту пору мы были, как никогда, близки к природе, убивать природу – значит убивать, стирать из памяти наши детские годы.

Первые мои рассказы, кстати, о детстве, что вполне понятно, оно, мое детство, в то время было не так далеко от меня, двадцатилетнего студента, и я написал небольшую книжку воспоминаний о своих детских годах, которая так и называлась «Картинки из детства». В дальнейшем детские годы различными эпизодами вторгались в абсолютно недетские мои книги, но вторгались и сидели там прочно, как у себя дома, потому что воспоминания о них остаются с человеком до самого конца, особенно с творческим человеком, и он время от времени возвращается в эти свои относительно беззаботные годы, и не потому, что они были беззаботны и безоблачны, а потому, что в то время острее и ярче воспринималась жизнь.

Я помню великолепного художника Расима Бабаева, который взялся оформлять мою первую книжку, несмотря на то, что в то время я был еще никому не известный молодой писатель, а он – знаменитый художник, выставлявшийся в Европе, и разница в летах у нас была большая, потому и не могу похвастаться, что дружил с ним, но я был горд, что этот именитый, талантливейший художник заинтересовался моими первыми рассказами и оформлял книжку; думаю, ему они понравились потому, что были искренние, он и сам был искренним, добрым человеком и очень цельной личностью.

Эта книжка писалась в Литературном институте, по вечерам, в комнате общежития, о котором я вспоминаю с большой теплотой, и потому, бывая в Москве, я никогда не захожу в свой родной институт, чтобы не разочароваться; я знаю – и в моей alma mater за сорок лет произошли большие изменения, как и во многих городах бывшей и распавшейся страны, где приходилось бывать. О Литинституте я тоже написал книжку, она называется «Оглянись назад без грусти» и несколько сентиментальна, что видно из названия, и это произведение не является одним из моих любимых, но, тем не менее, оно написано, и написано, как говорится, по горячим следам, почти сразу после окончания института и возвращения домой, в Баку. Видимо, подсознательно я понимал, а вернее – чувствовал, что пройдут годы, и я не смогу с той же достоверностью и реальностью воскресить время, проведенное в стенах Литературного, всех моих друзей из разных концов тогдашней огромной страны, всех женщин, которых я любил, и все интересные события, через которые я тогда прошел. Но чувство любви к тем студенческим дням становится с годами все острее, и я по-настоящему испытываю ностальгию по прошлому, когда вспоминаю свою жизнь в том московском вузе, чего не могу сказать о годах, проведенных в Политехническом институте в

своем городе.

Впечатление от первой публикации было ошеломляющим – я держал в руках газету и не мог поверить, что это мое имя набрано жирным шрифтом на газетной странице; правда, это была не проза, которой я в дальнейшем стал профессионально заниматься, а какая-то статья или очерк, я теперь не помню, но помню отчетливо то чувство, которое испытал, как страшно забилось сердце, готовое выскочить из груди, как я гордо поглядывал вокруг, думая, что уже все с интересом смотрят на меня, что миллионы читателей, прочитав эту статью, которую я нещадно, без всякой меры загрузил образами (многое, кстати, в редакции вполне справедливо убрали, но пока, держа газету в руках и уставившись на свою фамилию, я об этом не подозревал), станут узнавать меня на улицах, показывать на меня, перешептываться, кивая друг другу на меня, ставшего в одночасье знаменитым… Первая публикация в чем-то была для меня сродни первой любви, первой женщине (не оставившей, впрочем, ничего, кроме смутных воспоминаний о себе – я о женщине), это чувство я помню очень ярко, будто вчера произошло, хотя прошло много лет, и я тогда был очень молод. Но потом вторглась суровая проза жизни, и в редакции мне сделали ряд серьезных замечаний по поводу статьи, что смазало первоначальные впечатления от публикации, но помогло мне в дальнейшем писать более сжато, не удаляясь от сути материала. Это была хорошая школа, хотя пребывал я в ней недолго, я не собирался стать газетчиком; я пока еще смутно чувствовал, что ожидает меня нечто больше, чем карьера газетного репортера – я много читал и восхищался писателями, которым удалось создать свой, такой потрясающе интересный мир, где после прочтения я еще долго жил, домысливая судьбы героев, продолжая сюжет, и мне хотелось самому попытаться создать нечто подобное, свой мир.

Радость от первого гонорара, что я получил за ту же статью, была гораздо слабее: мне важнее было признание, чем деньги, что, наверное, предопределило всю мою дальнейшую судьбу – деньги, по возможности, стали избегать меня (это не означает, что я вовсе не умел зарабатывать, но то, что другим плыло в руки, мне приходилось добывать с трудом, кровью и потом), а известность постепенно приходила, и в один прекрасный день, как говорится, я проснулся знаменитым: одна из первых моих книжек принесла мне широкую известность, но и много неприятностей и головной боли. Книга, можно сказать, чудом вышла из печати, потому что цензура довлела над всем и вся в искусстве, а в моем произведении было много крамольного по понятиям того времени. Потому и стало это произведение широко известным, и книжку передавали из рук в руки. У меня сегодня не сохранилось ни одного экземпляра, но я помню, в те годы я видел множество этих книг, потрепанных до невозможности; я знал немало случаев, когда читатели, число которых, к сожалению, сейчас уменьшилось раз в сто, отдавали книжку, изданную в мягкой обложке, в переплет, чтобы сохранить её подольше. Все это радовало и как-то компенсировало то, что со стороны власть предержащих это мое произведение было принято сухо, чтобы не сказать – в штыки, хотя так оно и было; но до сих пор, когда совершенно незнакомые люди останавливают меня на улице и спрашивают про ту книгу, вышедшую почти сорок лет назад, я испытываю двойственное чувство: с одной стороны, мне приятно сознавать, что такое давнее мое произведение до сих пор пользуется успехом, с другой – меня удивляет и огорчает, что написанные после той, нашумевшей книги, произведения, которые я считаю гораздо более удавшимися и интересными, мало кто вспоминает. Видимо, уровень моего читателя застыл на том произведении

и не хочет подниматься выше, не желает замечать всего остального (как же ему замечать, если чтение книг в жизни многих отодвинулось так далеко, что стало почти несерьезным занятием?). Когда я работал над этой книгой, а писал я её, если можно так сказать, запоем, помню, двое суток почти не вставал из-за стола. И никакой писательской дисциплины, никакого определенного количества строк… В те годы в нашу жизнь еще не пришли компьютеры, и я писал ручкой на листах бумаги, а потом, когда сам, как первый читатель и первый редактор одобрял написанное, начинал печатать на машинке. У меня была машинка «Эрика», я любил на ней работать, кажется, и она любила работать со мной, потому что иные вещи печатала быстрее, чем профессиональная машинистка, с моей помощью, конечно. Так вот, когда я писал эту вещь и впоследствии многие мои произведения, я подолгу не мог выйти из-за письменного стола, вплоть до того, что, бывало, чуть не терял сознание и, поднявшись, не мог разогнуть спину. Но надо было ловить мысли, они, вовремя не зафиксированные, не превращенные в слова, не пригвожденные к бумаге, могли исчезнуть и исчезали, правда, позже возвращались, но уже в другой форме, уже не такие пронзительные, что поразили меня; и я с ума сходил, чтобы восстановить эти мысли и ощущения в первозданном виде; но ловить такие тонкие чувства, что шквалом иногда обрушиваются на тебя во время работы, было зачастую делом физически невыполнимым – рука не успевала записывать, и чувства, ощущения, мысли пролетали, пролетали, и оставалось только кусать себе локти, провожая их взглядом. Наговаривай на диктофон, советовали мне друзья. Но такая манера работы мне не нравилась, я внутренне ощущал себя репортером и боюсь, мысли в таком случае могли бы приходить ко мне репортерские, а не писательские… Так что оставалось только работать, как в лихорадке, потому и невозможно было вставать из-за письменного стола; хотя в такой манере работы было мало нажитого профессионализма, когда писатель педантично, аккуратно записывает определенное количество слов и трудится определенное количество часов, им самим отведенных на работу. Я редко умел так работать. Все у меня было лихорадочно, все в спешке, все в страхе не успеть, в лихорадочном нетерпении. Но с другой стороны – это же было огромное счастье, когда так работалось. Потому что была и обратная сторона этого тяжкого труда – когда вовсе не работалось, когда появлялись большие, тревожившие паузы в работе, которые я очень остро переживал – ведь родник не вечен, его можно исчерпать, что я со страхом наблюдал у некоторых знакомых хороших писателей.

Мысли – радость, стиль – мученье.

Жизнь и профессия научили меня многому, но только не терпению. Терпение у меня осталось примерно таким же, как в детстве. Я постоянно боюсь опоздать – опоздать с работой, опоздать на мероприятия, в гости, боюсь, что без меня может произойти нечто важное, и я могу это важное упустить, вследствие чего я всегда прихожу до назначенного времени, заканчиваю работу раньше оговоренного срока, просыпаюсь на пять минут раньше звонка будильника, и среди гостей бываю одним из первых. Всю мою жизнь нетерпение меня подводило, всегда я чего-то лишался из-за того, что поторопился, что-то проплывало мимо меня. Порой я много, лихорадочно работал, но потом, закончив, я начинал думать, что если бы я работал не так поспешно, я мог бы получать массу удовольствия от своей работы, потому что я её люблю. Но мысли… как тут не торопиться? Процесс в какой-то мере сродни сексу: когда торопишься, ты не можешь полностью насладиться процессом и потом начинаешь жалеть, что все так быстро закончилось. И главное – когда торопишься до-

стичь цели, то многое в жизни пролетает мимо тебя незамеченным или мало замеченным, будто ты в купе скорого поезда, и мимо тебя стремительно – так, что не запоминаются, как следует – проносятся интересные картинки, которые ты мог бы использовать в сценарии, если б достаточно внимательно разглядел их или попросту мог бы вспоминать их, возвращаясь к тем дням, когда ехал в вагоне поезда и мимо тебя… Целеустремленные люди – в какой-то степени ограниченные, обкрадывающие самих себя. Правда, упущенное в жизни компенсируется фантазией, и, как правило, люди с буйной, необузданной фантазией не очень внимательны к внешнему миру. Нет, я никогда не был дисциплинированным писателем… или «никогда» слишком сильно сказано? Временами я старался писать запланированно, по столько-то строк в день, но меня хватало ненадолго, и вновь дрожь и спешка охватывали меня, я включался в спринтерский бег, выбивался из сил, работая, и всегда завидовал писателям, которые умеют спокойно, планомерно трудиться, получая от своего труда истинное наслаждение… А я… я летел в вагоне скорого поезда, и мимо меня… Многое в жизни пролетело мимо меня. Но таков уж мой характер – я спешу, а исправлять характер мне лень, потому что это очень хлопотное и нелегкое дело.

Профессия меня научила – как могла – работать над крупной вещью изо дня в день, я научился обрывать написанное на интересном месте, порой, не дописав фразы, чтобы назавтра мне было с чего начать и было бы интересно работать. Когда не знаешь сюжета целиком, это очень важно. А сюжет целиком в прозе лучше не знать, это не сценарий, когда автор должен точно знать, чем закончит, как пойдет по заранее намеченному сюжету, где будут кульминации, где следует дать зрителю передохнуть, где вытащить зрителя из комнаты, в которой он уже может задохнуться, на натуру, и главное – с чего начать, чтобы зритель не убежал бы из зала в первые три минуты. Сценарий – искусство конструктивное. Перед сценаристом должен быть заранее составленный им сценарный план, «скелетто», как его называют киношники, который в процессе работы обрастает плотью. В прозе начало произведения тоже очень важно, необходимо втянуть с первой же страницы читателя, заинтересовать его, чтобы он не захлопнул книгу после первой же страницы (осторожнее! слова перемешаются!), а, напротив, с нарастающим интересом читал книгу, но, в отличие от сценария, в прозе автор не обязательно должен знать финал, потому что желательно, чтобы для него оставалось загадкой, тайной то, что он пишет. Что откроют последующие строки, страницы? Вот что важно и что делает работу автора настоящим непостижимым искусством, которое нельзя вскрыть и показать, как устроен внутренний механизм, потому что при вскрытии прольется кровь.

После визита к женщине, снимавшей испуг, я на самом деле несколько поуспокоился, и жизнь моя, маленькая семилетняя жизнь, снова начала входить в свое мальчишеское русло. В детстве я многим увлекался, и лепка была одним из увлечений, которое скоро прошло, но не прошла и осталась на всю жизнь моя любовь к картинам и скульптуре, я обожал и мог часами смотреть на картины известных художников, мало что понимая в живописи, но отзываясь душой на красоту, отображенную в полотнах. Потом я стал увлекаться спортом, в двенадцать лет я стал посещать юношескую секцию бокса в спортивном обществе «Динамо», пока мне на ринге не сломали нос. На этом мое увлечение боксом закончилось, а нос остался кривым. Это вообще отдалило меня от спорта, но зато еще больше приблизило к искусству, где носы не ломают, но могут сломать судьбу.

Я боюсь, когда работа находит меня, настигает. Я ношу в себе идею, ношу, об-

думываю со всех сторон, переворачиваю, перекатываю её так и этак, развиваю в сюжет, и наконец все это мне так надоедает, что остается только выплеснуть её на бумагу, на экран монитора и избавиться от нее, потому что на начальном этапе работы, когда обдумываю, я буквально заболеваю и, как больной человек, которому врач прописал домашний режим, стараюсь не выходить из дому, а если и выхожу, то почти ничего не замечаю вокруг, охваченный своей новой идеей, доводя её до окончательного вида, в каком она должна быть, облеченная в слова. И вследствие моего ненормального для окружающих поведения на меня многие обижаются, когда я на улице не замечаю знакомых и не отвечаю на приветствия. Потому – и не только по этой причине (кому же хочется заболевать?) – я боюсь начинать работу, особенно большую работу, но… ничего не поделаешь, она, эта работа, находит меня, настигает… Бывают и творческие застои в работе, кризис, паузы, я тяжело их переживаю, особенно если паузы эти затяжные, жизнь становится пустой, неинтересной, как будто произошла большая потеря, и ты ни о чем другом не можешь думать и не можешь жить полноценно. Творческие застои – это сама по себе большая тема в литературе, в искусстве, но, боюсь, что интересна и понятна она только творческим людям, это, как говорится, не кассовая идея, не для масс, что, конечно, сужает круг, как сейчас модно говорить, потребителей.

Несколько раз в моей практике со мной случалось такое: не зная меня, случайный читатель начинал пересказывать мне содержание моей книги и завершал свой рассказ примерно так: «Не помню, кто написал, но вещь мировая!» Я благодарен судьбе за эти немногочисленные случаи и бывал очень рад слышать эту завершающую фразу от читателя, потому что это и есть главное в литературе, когда, не помня автора, помнят книгу – неважно, кто автор, важно, что вещь запомнилась, что со временем к этой книге хочется вернуться.

Иногда я испытываю такую сильную душевную усталость, что мне кажется, от неё недалеко до душевной болезни и уж совсем близко до депрессии. В такие минуты мне даже не хочется поблагодарить кого-то, кто сделал для меня доброе дело и, естественно, как минимум, ждет благодарности, но мне тяжело говорить, тяжело набрать номер режиссера, который снял про меня фильм и его только что показывали по телевизору, тяжело позвонить издателю и сказать элементарное спасибо за издание новой книги, которую я с нетерпением ждал, а теперь… Многие это воспринимают как высокомерие, вот, мол, он считает, что мы обязаны ему, должны делать ему добрые дела, а он даже спасибо не скажет… Но это не так, порой язык не поворачивается, не хочется говорить, не хочется общаться даже с близкими друзьями, которых у меня, как у любого нормального человека, совсем немного, и которых я люблю, мнение которых уважаю и прислушиваюсь к нему. Хочется крикнуть: «Я не такой, вы еще плохо меня знаете!» Но кричать тем более не хочется, если уж говорить трудно…

Я люблю бесцельно гулять по улицам, всматриваться в лица прохожих, иногда я так пристально разглядываю их лица, что они сердито оглядываются на меня, или недоуменно или внимательно, в свою очередь, смотрят на меня, словно хотят вспомнить, знакомы ли мы. Я придумываю им судьбы, в зависимости от внешности, от выражения лиц, от их одежды, жестов, домысливаю их жизни, и мне очень интересно – угадал ли я? Но не станешь же спрашивать у незнакомого человека, правда ли, что он работает портным, или слесарем, или преподавателем в школе, что недоволен своей зарплатой и детьми или, напротив, – хорошо зарабатывает и послал сына

учиться в Лондон, а дочь – певица и поет на свадьбах, чем очень гордится, а жена во время секса, после тридцати лет супружества, прикрыв глаза, представляет на месте мужа его друга.

Школьные годы оставили, конечно, в моей памяти отпечаток и, надо сказать, не очень позитивный отпечаток. До двенадцати лет я был, помню, совершенно бесстрашным, безрассудно бесстрашным и бросался в драку со старшеклассниками по любому поводу, потом это качество, из-за которого меня не раз собирались выгнать из школы, пошло на убыль, но, даже будучи бесстрашным, я боялся одного – высоты, видимо, у меня была высотобоязнь, как болезнь, потому что даже на балкон второго этажа мне страшновато было выходить, кружилась голова – как раз до моих двенадцати лет мы жили в квартире одноэтажного старого дома. Ребята в школе, догадавшись о моей слабости, которую я, по возможности, всячески старался скрывать, стали дразнить меня: дети в таком возрасте бывают очень жестоки и не признают никаких слабостей, любая слабость товарища для них, да и для меня тоже, была поводом для грубых насмешек. И вот однажды во дворе школы, где наружная железная лестница вела на крышу третьего этажа, мальчишки из моего класса затеяли соревнование – кто залезет на крышу по этой шаткой, ненадежной лестнице и слезет, естественно, вниз. Надо сказать, что эта затея была опасна еще и тем, что залезать на крышу было строжайше запрещено руководством школы, и за этот проступок могло грозить серьезное наказание, соответственно фантазии того же руководства. Но детей было не остановить, и уже двое по очереди полезли на крышу, плюнули вниз, желая продемонстрировать, какое это плевое дело, и слезли обратно, став ненадолго героями среди толпы подростков. Я хотел тихонько, незаметно улизнуть, когда кто-то схватил меня за локоть и, явно зная о моей слабости, стал при всех громко подначивать:

– Ну, теперь твоя очередь, ты же ничего не боишься, докажи.

– Да он боится, посмотри, побледнел даже, – тут же охотно ввязался второй мальчик.

– О! Он трус, трус! – подхватил третий.

Да, моя необщительность и склонность к одиночеству приносили свои плоды, меня не очень любили и жаловали. Но ситуация была безнадежной, теперь, как бы я ни трусил, надо было доказывать, что я могу не хуже двух первых мальчишек полезть на крышу и плюнуть сверху на весь мир. Во мне все тряслось, я, на самом деле, видимо, был бледен, потому что многие со злорадными усмешками следили за моей реакцией. Мелькнула мысль броситься на обидчиков с кулаками, но это не было решением проблемы, и я в их глазах, в глазах мальчиков всего класса, мог остаться трусом, и с этим потом надо было жить до конца школы, но главное, я мог упасть в своих глазах, я бы потерял уважение к себе, и это мучило бы меня долгое время, как ни старайся впоследствии наверстать упущенное и неоднократно доказывать себе, что ты нормальный мальчик без всяких комплексов. Все эти мысли, если и не так конкретно, зато моментально пронеслись в голове у меня, скорее, я это почувствовал, и мне по-настоящему стало страшно, когда я осознал и предугадал последствия своего действия, точнее – бездействия. Я на ватных ногах, под смешки и подзадоривания одноклассников, подошел к лестнице, до которой еще надо было допрыгнуть, чтобы ухватиться за нижнюю поперечную планку, и, помирая со страху, схватившись за холодную железку… тут как раз пошел дождь, мелкий, противный дождичек… подтянулся, встал на нижнюю поперечину и начал медленно ползти на крышу, стараясь

не смотреть вниз, где ребята вовсю веселились, видя мою нерешительность и страх.

– Побыстрее! – крикнул снизу один из них. – Перемена кончается.

– Главное – не обосрись!

– Ха-ха-ха!

Я постарался лезть быстрее, сердце мое бешено колотилось, готовое выскочить изо рта, я не мог перевести дыхания и, наконец, под усиливающимся дождем достиг крыши, переполз на неё, покрытую киром, безбожно пачкая рубашку и брюки, и некоторое время оставался лежать, переводя дыхание и слушая, как сердце колотится о крышу школы. Теперь надо было слезать обратно, и это оказалось еще труднее, потому что я по-прежнему старался не смотреть вниз, но и без того у меня кружилась голова, а на крыше меня вдруг стошнило, но очень удачно – прямо на редеющую кучку оставшихся внизу «болельщиков», которые с ругательствами брызнули в разные стороны. Во мне даже не успело проснуться злорадное чувство, мне было не до того, предстояло слезать. Я, стоя на крыше под дождем, слышал, как прозвенел звонок на урок, видел, как мальчики разбежались. Я стоял, дрожа от страха, и не знал, что делать. Спуститься одному вниз мне казалось самоубийством. Одним словом, был страшный скандал, вышла из своего кабинета директриса, грозя мне всякими страшными карами, во что я не мог никак вникнуть, и наивно требуя, чтобы я «сейчас же спустился вниз и убирался из школы за родителями!» Наконец, догадавшись, что я лучше останусь жить на крыше, чем спущусь, ко мне наверх полез учитель физкультуры и помог мне, чуть не терявшему сознание, спуститься. В очередной раз меня выгоняли из школы, но и в очередной раз не выгнали. А железную лестницу вскоре укоротили, чтобы без приставной лестницы, хранившейся в мастерской учителя по труду, на нее никто не мог бы забраться.

Позже, в тот же день, на следующей перемене, когда я, горя желанием отомстить, устроил погоню за своими врагами, спровоцировавшими меня полезть на крышу, я, настигая одного из мальчиков, влетел в железную решетку ограды и неудачно вскинул головой, так что острие решетки впилось мне прямо в темя и кровь хлынула из головы так, что дети в школьном дворе закричали от ужаса, и кто-то более догадливый бросился за школьным врачом. В кабинете врача, куда те же одноклассники помогли мне добраться, я потерял сознание. Да, этот день был полон событий. Меня привели в чувство, сделали укол, перевязали голову, дали попить приторно сладкого чаю, и я, отлежавшись и немного придя в себя, отправился домой. Мама, хоть и привыкла к тому, что я не раз проливал кровь на поле брани неизвестно за что, на этот раз чуть не лишилась дара речи, увидев меня страшно бледного, с головой, перевязанной пропитавшимся кровью бинтом.

– Не пугайся, – только и смог сказать я. – Мы играли…

Она уложила меня в постель и вызвала врача. Тогда ни у кого на нашей улице не было домашнего телефона, и за врачом в поликлинику сбегал один из соседей. Вскоре я набрался сил, и моя мальчишеская жизнь продолжалась, по-прежнему безалаберная и в меру безоблачная, если не считать уроков в школе, в необходимость которых я уже тогда не очень верил.

С годами я все чаще думаю о смерти, стараюсь осмыслить её нелепость и уродливость, стараюсь придать ей, сколько возможно, форму разумного, продуманного в человеческой жизни финала, продуманного мудрым Всевышним, но снова и снова понимаю, что это невозможно – смерть нелепа и уродлива, и все мои близкие, любимые мной люди, мои друзья и родные не должны были умирать, ведь с ними уми-

рали частички моей души; но зато в памяти моей они жили все ярче, потому что вспоминал я их с любовью, смерть их опустошала мою душу, но обогащала память. И я, в ком писатель преобладал над человеком, с одной стороны, был рад, что память моя о них, незабвенных, становится ярче и острее и пригодится в работе; как врач, наблюдающий агонию близкого человека, делает про себя профессиональные заметки и выводы, позабыв на мгновение, что он прежде всего человек, а потом уже профессионал, так и я, прости Господь грешную душу.

Прервусь… сейчас я пишу эти строки и, несмотря ни на что, снова понимаю: моя жизнь наполнена.

Одно из ярких воспоминаний детства – мотоцикл «Малютка». Сосед-слесарь, на горе нам, мальчишкам с нашей и близлежащих улиц (последних мы без особого восторга пускали на свою улицу и, как правило, их визиты заканчивались дракой), собрал своими золотыми руками мастерового мини-мотоцикл и держал его в подвале своего дома, время от времени выводя на улицу и на тротуаре перед домом демонстрируя его возможности. Это была точная копия настоящего мотоцикла: такие же колеса с накачанными покрышками, поменьше только, такой же руль, и даже зеркала по обе стороны руля, маленький бак для бензина литра на два, удобное седло-сиденье, сверкающие на солнце спицы, одним словом – мечта, но когда мы узнали цену, которую хозяин запрашивал за это чудо, то поняли, что мечта эта для нас недосягаема. Мы жили в рабочем квартале, пролетарии, бедняки, так что такая игрушка, как мини-мотоцикл «Малютка» (кстати, эта красивая серебристая надпись, выполненная в форме стрелы, красовалась на бензобаке мотоцикла и вызывала сомнения в авторстве хозяина, все-таки красивый дизайн был не по его части, грубая деревенская скотина, какой там еще дизайн…), оставалась для нас, мальчишек, мечтой. А этот садист, вытаскивая из подвала, где он держал нашу мечту, свое творение, будто желая подразнить нас, заводил мотор, и несколько минут мотоцикл тарахтел на всю улицу, как пулемет, созывая нас, мальчиков, полюбоваться на нашу любимую «Малютку». Не знаю, как другие соседские ребята, а я был в самом деле влюблен в этот мотоцикл, так что он мне снился по ночам, как раньше девочки, в которых бывал влюблен (с той только разницей, что не уступал ему половину своей подушки), я буквально бредил им. И когда у нас появилась дача, я, все еще помня о своей неостывшей мечте, поначалу пенял отцу, что, если он мог купить дачу, то наверняка мог бы позволить себе и мотоцикл, но уродливое законодательство одной шестой части суши такие игрушки, как самодельный детский мотоцикл причисляло к предметам роскоши, тогда как дачи трудящимся позволялось покупать, с условием, что дома на этих дачах будут не выше одного этажа. И тут цензура!..

Много раз я себе говорил: нельзя набрасываться на работу, так же, как и на женщину, итог будет грустный; их надо брать постепенно, приступом, как крепость, брать лаской, очень медленно и доброжелательно подступаться, сияя улыбкой, так, чтобы и та, и другая даже поначалу не поняли, что ты их домогаешься, усыпляя бдительность, и можешь ими овладеть. Но, что бы рациональное мышление, разум ни повторяли, неоднократно обжегшись и имея печальный опыт, нетерпеливый мой характер делает по-своему: с неулыбчивым, хмурым лицом, предвидя финал, уже заранее обреченный на фиаско, я набрасываюсь. Часто получаю отпор – с первых же строк работа не идет, с первых же слов женщина замыкается, как закрывающийся лепестками на ночь цветок, уходит в себя, как улитка, но бывает и обратное: постепенно (гораздо дольше, конечно, чем было бы, если б я поступил разумно с самого

начала и послушался голоса рассудка) приходится начинать заново, восстанавливая в душе равновесие и любовь, на что уходит много энергии и душевных сил, но со временем все налаживается – работа идет в нужном русле, женщина ложится.

В писательском ремесле для меня главным остается вдохновение, не побоюсь громкого слова (потому что вдохновение и есть громкое слово, самое громкое из всех громких), главным остается лихорадочное состояние, когда предчувствие э т о г о, что должно произойти и очень скоро, охватывает всего тебя, когда ощущаешь дрожь во всем теле, как неопытный мальчик, взбудораженный весной, внутренне дрожит и боится, подходя к первой своей женщине, когда сердце бьется учащенно, и ты знаешь, пока будешь писать, оно не избавится от временной тахикардии, но тебе плевать на это и на все на свете, кроме работы и зыбкого ощущения, что сейчас получится, сейчас ***р о д и т с я***. Многолетняя практика показала, что если заставлять себя работать без этого великолепного ощущения, каждый день в одно и то же время выпуская на волю определенное количество строк и – напротив – если бездельничать и плевать в потолок целую неделю и всего один день писать по вдохновению, которое я здесь попытался описать бледными словами (потому что оно, в сущности, неописуемо, как любовь), то результат будет один и тот же: все равно в итоге вершиной будет то, что написано в тот самый день, лихорадочный, счастливый день – подарок Бога; и семь дней, когда ты заставлял себя работать, заставлял сесть за письменный стол, профессионально настраиваясь на работу, всячески провоцируя себя и вспоминая примеры дисциплинированных великих писателей (а Бог в это время наблюдал за тобой и посмеивался), ты потратил впустую, потому что эти дни ты мог бы посвятить друзьям, пить и веселиться с ними, или бродить по улицам, думая о смерти, или любить женщину… Но ты потратил это время впустую, заставляя себя работать без вдохновения, без ангела за твоей спиной. Один день, один-единственный день перевесит все остальные.

Журналисты часто меня спрашивают – я заметил, они любят задавать похожие вопросы – «Как я отношусь к тому, что тиражи книг в нашей стране упали, что мало читающей публики?» Как я могу к этому относиться? Я думаю, они хотят разбудить во мне чувство ностальгии по прежним временам, когда мои книги выходили огромными, по нынешним меркам, тиражами. Но никакого чувства ностальгии именно по этому поводу у меня нет, я трезво смотрю на вещи, было время, когда литература, кино, другие виды искусства для руководства страны с тоталитарным режимом служили, в первую очередь, средством пропаганды существующего строя; и многие деятели искусства работали на эту пропаганду, отсюда и огромные тиражи (кстати, непомерно низкие гонорары, какими бы большими, по сравнению с зарплатой госслужащего, они ни выглядели; уродливая тиражная политика в стране делала эти гонорары по сравнению с тиражами весьма и весьма низкими), и множество льгот, что предоставлялись писателям и прочим деятелям искусств. Сейчас мы вернулись к нормальному состоянию, в котором изначально находился весь мир: книги писателя покупают – он живет хорошо, не покупают – живет плохо. Одно вызывает сожаление: именно в нашей стране число читателей катастрофически снизилось. Катастрофически и стремительно.

Да, я заболел этой игрушкой, мотоциклом «Малютка». А хозяин этого рукотворного чуда, видя наши горящие взгляды, которыми мы смотрели, ласкали, целовали мотоцикл, позволял нам (будучи навеселе, в хорошем настроении) садиться на седло мотоцикла, браться за руль, чтобы всем телом, всем естеством своим почув-

ствовать, какое это наслаждение. И мы чувствовали это всем естеством, но потом становилось еще горше оттого, что наслаждение оказалось очень кратковременным. Естественно, большинство мальчиков просили у отцов приобрести этот чудо-мотоцикл, я не был исключением, на нашей улице среди ребят был повальный психоз, плач и стенания по мотоциклу. Но не только на нашей, приходили смотреть на мотоцикл из дальних кварталов, хозяину удалось сделать для своего детища хорошую рекламу именно через нас, мальчиков, но пока найти настоящего покупателя он не мог; многие приходили с отцами или старшими братьями, те приценивались и уходили ни с чем. А однажды, когда я уже донельзя надоел дома родителям своими слезными мольбами, отец как-то ночью, думая, что я сплю, сказал матери:

– Такую цену загнул, чертов сын! Я говорю ему: даже настоящий столько не стоит, а он мне – это же произведение искусства, разве не видите?!

Я слышал только обрывок их разговора, только эти фразы, но сразу же понял, что речь идет о предмете моей мечты, о том, чем я бредил последние несколько недель, сразу догадался, потому что только об этом и думал. Боже, как мне хотелось приобрести, вернее, чтобы отец приобрел мне эту потрясающую игрушку. Обычно мы, подростки, сами в те годы мастерили себе игрушки – самокаты на подшипниках, доски на подшипниках, колеса, что катили на проволочной держалке, и многое другое; и если б кто купил детский мотоцикл или даже велосипед, это был бы сногсшибательный скачок от примитивных, самодельных наших игрушек до умопомрачительно роскошной мечты. В магазинах игрушек выбор был небольшой – куклы, игрушечные автоматы, пистолеты – раз-два и обчелся. Однако мотоцикл «Малютка», когда слесарь – народный умелец – собрал его и выставил на продажу, затмил все, о чем мы до сих пор мечтали, что мы желали. Мы узнали все о нем, он развивал скорость до тридцати километров в час, примерно на столько же хватало горючего в его баке, все необходимые детали слесарь вытачивал своими руками и тайком протаскивал через проходную завода, на котором работал. Риск был большой, в те годы за такое могли привлечь к уголовной ответственности по статье «Расхищение государственного имущества», нам, мальчишкам это было неведомо, и мы очень злились на него за то, что он не хотел сбавить цену. Но в то же время каждый из нас в душе боялся, что мотоцикл купит не он, а другой, и тогда вряд ли придется еще хоть раз посидеть на его седле – мальчишки народ жестокий и за свое имущество держатся крепко. Впоследствии слесарю все же удалось найти покупателя, и мотоцикл «Малютка» благополучно покинул нашу улицу, наш квартал, купил его кто-то для сына и, говорят, увез на дачу, подальше от завистливых глаз. И постепенно, как и все недосягаемое для нас в жизни, мы, мальчики, забыли его, забыли свои несбывшиеся мечты и надежды, и мне, пока я вырос, приходилось еще не раз терпеть подобные поражения, когда до своего страстного желания, до мечты нельзя было дотянуться рукой, и оно оставалось втуне. Это и понятно – детские желания часто превышают возможности взрослых, и одно за другим эти нереализованные желания оставляют горький осадок в душе ребенка, и ничего нет удивительного, что дети из бедных семей в большинстве своем вырастают людьми с комплексами, со стремлением вернуть себе радости и удовольствия, что недодали им взрослые в ранние годы жизни, вырастают порой с преступными наклонностями, вследствие подавленных в детские годы желаний.

Искусство, литература – это маленький домик из одеяла, который создают дети, играя; домик, куда прячется ребенок, в своем воображении строя свой мир; вырос-

ший ребенок, продолжая игру, находит в сотворенном его фантазией мире возможность спрятаться, убежать от мира реального, жестокого, несправедливого, чьи правила он не может принять. Литература дает такую возможность. Но, уходя от реального мира, писатель все-таки на него опирается, его берет отправной точкой в своих произведениях, забирает его неприемлемые для себя законы и атрибуты в свое творчество; ему хочется создать свой добрый, уютный мир, свое гнездышко из одеяла-домика, свой мир справедливости, но в то же время он понимает, что должен отображать реальный мир со всем его каждодневным уродством и волшебством, превосходящим любую писательскую фантазию. И часто из реального мира берется столько интересного, потрясающего, жестокого, доброго, прекрасного и жуткого, и так действенно, талантливо отображается, что книги автора становятся бестселлерами и ведут его по пути в роскошную жизнь, где ему уже нет необходимости прятаться в домик из одеяла. Бывает и иначе, ведь писательство очень индивидуально, и писатели не похожи друг на друга, очень отличаются друг от друга, и бывает, что не умея делать популярными свои книги, писатель все еще прячется от жизни в своем детском домике из одеяла, успокаивая себя мыслью, что неблагодарный современный читатель еще не дорос до его произведений.

Мой приход в литературу (некоторые журналисты впоследствии утверждали, что я ворвался в литературу, но мне не хотелось бы врываться в дом, где царили такие гении, как Шекспир, Физули, Достоевский, Диккенс и многие другие великие Мастера; одного недоумевающего их взгляда на меня было бы достаточно, чтобы я попятился и убежал, пристыженный) был, не могу сказать, чтобы очень уж ровный, без проблем, поначалу я чуть не стал инженером-строителем; еще бы года два, и я бы получил диплом, такой необходимый и такой престижный в то время. Но я вовремя остановился. Во-первых, уже с юношеских лет я стал пописывать в газетах разные недозрелые статейки и очерки, возомнив себя журналистом и чуть ли не писателем, и еще: за три года, что я провел в стенах Политехнического, попав туда по воле случая и уж никак не по призванию, я успел возненавидеть всей душой чертежи и все технические предметы, которые, как мне казалось, притупляли моё буйное воображение, так необходимое Литературе, которая заждалась меня, отчаялась уже меня обрести и заранее скорбела по своему непутевому сыну. Позднее я понял, что был неправ насчет технических предметов, я стал понимать, какая высокая поэзия таится в цифрах и вдохновенных поисках точного раскрытия сложнейших формул. Тогда я этого не понимал и наблюдал жизнь в отрыве от ненужной мне учебы. Но ничто не пропадает зря, если уметь видеть и жить сегодняшним днем – Политех многому меня научил, были рядом со мной интереснейшие персонажи, происходили удивительные события; многое потом фрагментарно или целиком, обратившись в эпизоды из разных произведений и в полноценных литературных героев, вошло в мои книги; а интересные события по горячим следам я тут же записывал в свой «писательский» блокнот, рассчитывая, что когда-нибудь эти записи мне пригодятся. Вообще, очень долго я не расставался с моими рабочими блокнотами, которых за десятилетия скопилось тьма-тьмущая, и в которые, надо сказать, я очень редко заглядывал, оставляя на потом, когда не смогу довольствоваться иссякающими, похудевшими свежими идеями, только что пришедшими в голову и тут же коварно ускользнувшими, подразнив. Но, слава Богу, приходили и часто даже долго гостили. Не жалуюсь. А старые записи время от времени, когда наступали паузы и приходило время плевать в потолок, я вытаскивал на свет божий и перелистывал, просматри-

вал и с удовольствием убеждался, что почти ничто из записанного не устарело, что это не сиюминутные записки репортера, привязанные к своему времени, а события, случаи, происшествия и люди, о которых всегда интересно писать.

Из сорока человек абитуриентов, поступавших в Литературный институт в один год со мной, человек тридцать были гениями. Они после обильных шумных возлияний в общежитии ловили друг друга в коридорах и угрожающе вопрошали:

– А ты знаешь, что я – гений? Нет? Ну, слушай!

И после этих слов следовали километровые стихи.

Я стихов к тому времени не писал, уже полностью вверил себя прозе, и потому стихи молодых начинающих гениев слушал с легким недоумением, постепенно вызывавшим в душе моей темный ужас, а на финальный вопрос гения:

– Ну, как?

Честно отвечал:

– Дерьмо.

Порой заканчивалось дракой, но мне ли к дракам привыкать? Но однажды, совершенно неожиданно, начинающий гений отреагировал на мой ответ добродушным смешком.

– Я знаю, – сказал он и прибавил. – Но это не мешает мне быть гением, не правда ли, старичок?

Я задумался над его ответом.

Может ли человек достоверно знать, что он гений? Наверное, может. А может человек открыто называть себя гением? Наверное, может. Ведь Пушкин, говоря от лица Моцарта, признающего, что он гений, считал в первую очередь гением себя, таким же, как Моцарт, как Бомарше и другие великие творцы. Можно откровенно называть себя гением, не скромничая, ведь скромность – удел бездарей, и творческая личность, а тем более гений, не может быть скромным, это нонсенс; правда, живя среди людей и умея преподнести себя должным образом, он с виду может производить впечатление очень скромного человека, чтобы вызывать умиление у обывателей, своих почитателей, но только троньте его за живое, только сравните его с кем-то, кто, на ваш взгляд, талантливее, ого-го!.. Лучше отойдите на пять шагов… Он – единственный и неповторимый. Но в работе, когда мучают сомнения, когда разрываешься в поисках точного слова, когда бьет лихорадка творчества, когда тревожно на душе и боишься приступать к новому произведению, вот именно тогда неуверенность, зыбкость, эфемерность, воздушность, неуловимость того, чем ты занимаешься, убивают в тебе твердость духа, и ты просто должен работать, потому что, чтобы что-то сделать, надо начать это делать; и ты уже забываешь всю свою нескромность, всю свою гениальность, и только неуверенность и зыбкость, эфемерность и неуловимость довлеют над тобой, и страх, страх охватывает тебя, все существо твое. «Ну, что, – снова и снова назойливо спрашивает нахальный голосок в тебе, – ты и теперь гений?»

Сколько идей погибло во мне, не родившись, сколько идей для кино, для книг, иные спотыкались о скудоумие и трусость чиновников, импотентов от искусства, иные, о мои страхи, и в итоге рождались только самые смелые, самые крепкие, самые приспособленные к жизни, рождались, облекаясь в слова, оставались, жили отдельно от меня, но я их не забывал. Я мало думал о читателе. Я сам был читателем.

Как-то в начале девяностых прошлого века, в смутный период безвременья в моем городе, я шел рано утром мимо старого книжного пассажа, где, помнится, бук-

вально несколько лет назад выстаивал большие ночные очереди, чтобы купить книжные новинки; и вот, иду я мимо книжных магазинов и вижу разбросанные по улице книги. Я машинально, не нагибаясь, стал читать на корешках и обложках: Ромен Роллан, Лев Толстой, Рэй Бредбери, медицинский справочник, словарь синонимов… Неподалеку дворничиха подметала забытую прохожими улицу.

– Что тут произошло? – спросил я её.

Она удивленно глянула на меня.

– Ничего не произошло.

– А эти книги?.. – я указал на книги под ногами у меня, к которым она уже подбиралась с метлой.

– А, – сказала она. – Тут ремонт начинают. Вот и повыкинули. Здесь, говорят, парикмахерская будет.

– Ясно, ясно, – сказал я. – А можно я кое-что заберу?

– Да на здоровье! – тут же весело отозвалась дворничиха. – Хоть все забирайте. Мне работы меньше будет.

Поднимая с земли книги, я взглянул на распахнувший двери давно знакомый книжный магазин, на пороге которого тоже валялись кучи книг, будто выпустили кишки человеку, распороли живот, и все внутренности выпали наружу, на всеобщее обозрение...

В конце концов мне купили велосипед. Это была компенсация за то, что мотоцикл «Малютка» от меня уплыл, и мои мечты о нем постепенно тлели, угасали, растворялись в буднях, мальчишеских заботах, радостях и тревогах. Велосипед тоже было неплохо, я давно хотел такой, чтобы летом ездить на пляж от нашей дачи, на пляж и обратно. В город я его решил не брать осенью, хотя очень хотелось повыёживаться среди мальчишек, не имеющих велосипеда.

В годы моего детства были очень популярны фильмы Раджа Капура с великолепным музыкальным оформлением, не знаю, какого композитора, да и никто, верно, не помнит, потому что главным был актер и режиссер Радж Капур (теперь я знаю, что на его актерское исполнение огромное влияние оказала школа великого Чаплина, но в то время всем казалось, что игра звезды индийского кино очень самобытна и неповторима, что было верно, несмотря на многое, что было заимствовано им из чаплинского искусства), он запоминался, был бешено популярен у нас в городе, да и на всем Востоке, фильмы с его участием постоянно шли в кинотеатрах и имели большой успех. Середина прошлого века, разгар социализма, что грозился перейти в коммунизм в огромной стране, граждане которой боялись показаться богатыми; и тут как нельзя кстати пришлось – говоря словами классика марксизма-ленинизма «из всех искусств важнейшее» – искусство Раджа Капура, которое подспудно пропагандировало окрашенные в романтические тона бедность и нищету, так что многие граждане – в особенности молодые – чуть ли не гордились своей бедностью, и все поголовно стремились стать бродягами, как герой фильма знаменитого Раджа. В кинотеатрах спекулянты не успевали продавать билеты в три, а то и в пять раз дороже стоимости, каждый сеанс шел с аншлагом, весь город напевал, насвистывал, мурлыкал под нос песни из фильмов, но композитора никто не помнил и не интересовался его именем, и редко кто – может, сами местные композиторы и музыканты – возможно, обращал внимание в титрах на имя композитора. А музыка была великолепной, потому что в основе всех песен в фильмах была прекрасная, очень запоминающаяся мелодия. Сейчас несложно выйти в Интернете на эти старые фильмы и посмотреть имя компози-

тора в титрах, и упомянуть его здесь, но мне хотелось оставить все, как есть, все, как было в годы моего детства, когда я тоже, как и все, не интересовался, кто же создал такие чудесные песни.

Как раз на утреннем сеансе какого-то фильма с Раджем Капуром, когда зал кинотеатра был переполнен школьниками, убежавшими с уроков, директора и учителя школ устроили облаву, и мне этот случай запомнился. Я учился в шестом классе, мне было тринадцать лет.

Много лет назад я написал сценарий для одного нашего режиссера. Звали этого режиссера Шахмар Алекперов. Он был талантливым режиссером и актером. Меня всегда привлекала тема одиночества, одинокой старости, я старался представить себе, каково должно быть в жизни одиноким старикам. И написал сценарий о таком одиноком старике, живущем в доме престарелых, у него никого нет, но старик, хотя лет ему много, не чувствует себя старым. Он молод душой, ему порой хочется откалывать рискованные шуточки, которые с негодованием и непониманием принимаются контингентом дома, ему скучно со стариками. И вот он встречает молодых людей, которые помогают ему сбежать (точнее, просто незаконно забирают его, но старику, авантюристу по натуре, это кажется бегством) из опостылевшего ему интерната для стариков; старик несказанно рад, он очень скоро привязывается к молодым людям, но они оказываются ворами, мошенниками – две девицы легкого поведения и парень-сутенер. Они ищут наживы во всем и используют старика в своих целях, хотя по-своему тоже привязываются к нему. Старик, поняв, что не сможет наставить на праведный путь этих молодых людей, которых он по-настоящему, как детей своих, полюбил, кончает с собой. Сценарий получился, по жанру это была трагикомедия, любимый мой жанр в кино, в нем было множество интересных, смешных, забавных деталей, и Шахмару он очень понравился. Был в сценарии такой эпизод: старик выходит из украденной машины, чтобы помочиться, а парень и девушки его торопят, и старик начинает бранить свой член:

– Давай заканчивай, – говорит он пенису. – Видишь, люди ждут, совсем ты женщин не уважаешь.

Старик по характеру – любитель ёрничать, порой строить из себя шута, но внутренне он глубоко порядочный человек, желающий помочь молодым людям стать на верный путь, вернуться к нормальной жизни. Таких эпизодов было в сценарии много, но Шахмар попросил меня убрать этот. Однако мне удалось убедить его, что в нашем кино, где многое делается с оглядкой на цензуру, где шакалы-чиновники от кинематографа режут интересные материалы, как говорится, по живому, подобных эпизодов еще не было.

– Давай рискнем, – сказал я, – ведь убрать никогда не поздно. А вдруг пройдет.

Он подумал и согласился. Он от души смеялся над многими сценами и в последнее время, можно сказать, жил этим сценарием, очень хотел его снять. Но Шахмар тяжело заболел и умер. До последних дней он жил надеждой. Перед отъездом в Германию на операцию он мне сказал:

– Вот вернусь и, дай Бог, начнем работать.

Но не сбылось. А сценарий до сих пор не реализован, я его никому не отдаю. Знаю, в таких делах надо быть прагматичным, отбросить всякую сентиментальность, можно было бы даже посвятить фильм памяти этого замечательного человека и актера, но… Я никому не отдаю этот сценарий, не хочу…

Да, мне было тринадцать, и после того неудачного похода в кино во время уроков, где вместе со мной сидели в зале почти все ученики нашего класса, меня вместе с ними чуть не выгнали из школы. Но это оказалось очередным «чуть», которое на протяжении десяти лет учебы повторялось из года в год по разным причинам. Нервотрепки, однако, очередное убегание с уроков доставило мне немало, я подвергся домашнему аресту, после школьных занятий, разумеется, в самое интересное «уличное время», когда все мальчишки с нашей улицы, пообедав после школы, выходили играть, общаться, выяснять отношения или мириться, выяснив их. Чаще мы играли в футбол на нашей узенькой, кривой, вовсе не приспособленной для футбола улице. Но были и другие игры – чехарда, когда мальчики прыгали друг через друга, шумагадар – это игра с железными крепкими прутьями, их втыкали в землю, стараясь сбить ранее воткнутый в землю прутик соперника, и тогда его прутик считался выигранным, наккули – специально приспособленную палочку-пульку били лопатообразной доской, стараясь отбить как можно дальше; и много еще было игр менее популярных, но футбол был самой любимой нашей игрой, в которую мучительно было играть на неудобной улочке, каждый раз пережидая машины, проползавшие со скоростью тридцать километров в час мимо нас, вжавшихся в стены домов под окрики матерей:

– Осторожнее! Машина!

– Хватит околачиваться на улице! Живо домой!

Поэтому мы часто бегали играть в футбол во двор мечети «Тезе-пир», прямо напротив нашего дома. Но не успевали мы разыграться, как во двор выскакивал дворник мечети, работавший по совместительству мюрдеширом – мойщиком трупов. Он гонял нас со двора метлой, крича:

– Кяфиры, вероотступники! Аллаха не боитесь! Пошли прочь! Убирайтесь из дома Аллаха!

Конечно, мы убирались, но двор мечети был будто специально предназначен для игры в футбол – ровный, гладко асфальтированный. И мы всякий раз не могли устоять, поддавались соблазну, надеясь, что на этот раз дворник, может быть, будет спать в своей каморке и не услышит нас, или заболеет, или отлучится по делам, а играли мы тихо, стараясь как можно меньше шуметь. Но это не помогало, минут через пять, много – десять грозный дворник с метлой появлялся, как злой рок, стараясь настичь нас и достать своим грязным орудием труда.

На даче мне строго-настрого было запрещено ездить на пляж на велосипеде, но днем, когда все на даче – мама, бабушка, родственники, часто навещавшие нас, – спали, а отец был на работе в городе, я тайком выезжал и катил на велосипеде к пляжу. Доехать на велосипеде до пляжа можно было минут за пятнадцать на нормальной скорости, а на ненормальной я доезжал обычно за десять. У меня уже были свои часы, которые на день рождения подарил мне папин друг, дядя Виктор. Однажды на дороге на пляж я заметил на асфальте валяющийся гвоздь и специально наехал на него колесом велосипеда. Гвоздь лежал очень удобно, поперек колеса, и, по моим расчетам, не мог вонзиться в шину, но когда я наехал, он вдруг прокрутился под колесом и вонзился в покрышку, которая тут же с коротким злорадным шипением спустила. Я любил испытывать судьбу, еще не зная известную истину, что нельзя искушать судьбу, я её искушал и в хвост, и в гриву, и она мне отвечала тем же. Не солоно хлебавши, не доехав до пляжа, я под обжигавшим полуденным солнцем, босиком, по горячему асфальту ведя за руль покалеченный велосипед, шел

домой, заранее готовясь к очередной головомойке и долгому ворчанию бабушки и мамы, что меня просто бесило…

К нашей школе, расположенной в криминально неспокойном районе города, часто приходили молодые бездельники, хулиганы. Они курили легкий наркотик – анашу, очень популярный в то время в нашем городе, провожали затуманенными взглядами старшеклассниц, что-то говорили им вслед, иногда ввязывались в драку с особо ершистыми десятиклассниками, но драки тут, возле школы, быстро затухали, потому что рядом со школой, буквально в нескольких шагах, находился участок милиции, и сидел там недремлющий участковый уполномоченный в чине лейтенанта, оперативно реагирующий на всякие стычки между буйной молодежью своего района.

К школе подъезжал время от времени молодой парень, сын известного в городе композитора. Ему было лет восемнадцать, но он имел уже свою машину, конечно, купленную отцом, и одевался по последней моде. Мы, мальчишки, очень завидовали ему и старались подражать в одежде, в манерах, в поведении. Он был пижоном и одним из известных стиляг нашего города. В те годы были в моде расклешенные брюки, тупоносые туфли и плащи-болонья. Так у этого парня брюки были настолько расклешенные, что еще немного, и они напоминали бы юбку. Я тоже хотел бы так одеваться, дома я прожужжал родителям уши, но реакция была нулевой; мне, говорили они, следует одеваться, как тринадцатилетнему мальчику, а не как известному в городе стиляге и бездельнику, который нигде не учится, нигде не работает, а только разъезжает на папиной машине и лоботрясничает возле школы, дразня своим внешним видом таких, как я, шестиклассников с неокрепшими еще мозгами, которым надо учиться, а не щеголять в клеше, как матрос, и в плаще, напоминающем кожуру лука. Вот так они относились к моде, но, видимо, мне и правда было рановато так по моде одеваться. Но я хотел, мечтал, в мечтах имел. Мечтать ведь не запретишь.

В Литературном было много забавных случаев. Это был уникальный институт, и в нем получало литературное образование очень ограниченное число студентов, но вследствие того, что литература и искусство, и в первую очередь кино, расценивались руководством Страны Советов прежде всего как пропаганда существующего и «самого справедливого» тоталитарного режима, в этот идеологический ВУЗ просачивалось много лишних, лишенных способностей, но политически «верно ориентированных» студентов, даже несмотря на весьма жесткий отбор при поступлении. Один из таких случайных студентов просочился и на наш курс, и на творческом семинаре, который вел у нас – не могу его не упомянуть, мир праху – прекрасный, очень мягкий по характеру человек, руководитель семинара Анатолий Васильевич Старостин, произошел как-то забавный случай. Старостин, прочитав под аккомпанемент наших смешков и реплик полуграмотные вирши начинающего «поэта», заключил свое чтение словами:

– Знаете, уважаемый сеньор (он был переводчиком с испанского и всех нас в шутку называл «сеньорами»), мне кажется, стихи у вас… ну, как сказать… не очень получаются. Может, вам попробовать себя в прозе, а?

И было видно, как ему не по душе сообщать студенту подобные неприятные вещи. Но сообщать надо было. Прошло месяца два, и этому «уважаемому сеньору» вновь пришел черед отчитываться за работу, проделанную за истекший срок; мы все по очереди периодически отчитывались на семинарах написанными стихами, рассказами или переводами. И вот этот студент представил на сей раз, по совету руко-

водителя семинара, рассказ, если только написанное им можно было назвать рассказом. Было смешно, неописуемо бездарно, и все мы покатывались со смеху, сопровождавшего наиболее кошмарные моменты читаемого автором опуса. И вот наш Старостин, забыв свои рекомендации двухмесячной давности, говорит:

– Знаете, уважаемый сеньор, мне кажется, с прозой у вас не совсем получается. Может, вы попробуете писать стихи? Вы любите поэзию?

Ну, тут мы грохнули! Откровенно расхохотались, так что недалекий «уважаемый» тоже захихикал, поддерживая коллектив. Старостин, человек уже в те годы пожилой и очень занятой, попросту забыл свои слова, сказанные на первом обсуждении стихов студента. И вот получился такой забавный эпизод.

Студенческие годы были полны подобных казусов, полны любви и работы, которую я выполнял с увлечением, с нетерпением ожидая отзывов нашего руководителя семинара, человека с тонким литературным вкусом, большим опытом и талантом. Я писал (не могу употребить слово «работал», как бы мне этого ни хотелось, для меня пока это было увлечением), и мне было интересно писать, потому что я впервые столкнулся с тем, как девственно чистый лист бумаги в процессе письма может открывать совершенно неожиданные вещи, которые заставляют чаще биться сердце. Конечно, тогда у меня не было и не могло быть никаких мыслей о гонорарах. Я работал бескорыстно, для себя, и интуитивно чувствовал, что если мне интересно писать и перечитывать написанное, то и читателю, кем бы он ни был, будет интересно. Я писал, опираясь на свой небольшой, двадцатилетний, опыт и, естественно, жизненного опыта мне не хватало, но я черпал из себя, описывая свои чувства, ощущения, кроме того, у меня были интересные образы, люди, с которыми я общался, которых наблюдал, и жизни и судьбы которых домысливал про себя, дав волю своей фантазии – это персонажи, почерпнутые из студенческих лет во время учебы у себя на родине в Политехе, студенты и преподаватели, люди, знакомые мне на протяжении двадцати моих лет. Я вовремя понял, что в литературе важен, в первую очередь, герой, все должно крутиться вокруг героя произведения. Потому и живут книги классиков, что у них живые, полнокровные, интереснейшие образы, которые мы примериваем на себя всю жизнь, перечитывая их произведения. Потом уже сюжет. Но как бы интересен ни был сюжет, его хватает только на один раз; никто из-за известного уже ему сюжета не станет перечитывать книгу, это как сыгранная однажды шахматная партия, никому не захочется повторить её рисунок в точности. А живые люди, персонажи, образы – совсем другое, ты каждый раз, на разных этапах жизни, находишь в них нечто новое, что не заметил раньше, пять или десять лет назад. Вот с такими убеждениями я писал, и, кажется, получалось, и однажды Старостин при всех на очередном семинаре неожиданно для меня, когда читали и разбирали мой новый рассказ, заявил во всеуслышание:

– Как пишет Натиг, у вас, в Азербайджане, пожалуй, никто так не пишет.

После этого заявления я целый день ходил оглушенный его словами, для меня он был авторитетом. Но потом его фразу мои сокурсники – с моим участием, надо сказать, – стали переиначивать, шутливо превращая в свою противоположность:

– Как пишет Натиг, никто в Азербайджане так плохо не пишет.

Мы все были молоды, и везде и во всем искали смешную сторону и хохотали беззаботно над каждой шуткой, готовые осмеять все, что видели и слышали. И я тоже шутил и смеялся вместе со всеми, в душе, однако, сожалея, что главное слово во фразе Старостина не было им произнесено, и теперь эту фразу можно было выво-

рачивать наизнанку; это было жаль, потому что именно его мнение для меня тогда было весьма ценным. Но главным критерием все же оставалось мнение самих студентов-насмешников, твоих сокурсников, товарищей, и когда они не находили повода для шуток, затихали, читая твои рассказы или этюды, не могли найти и не искали возможности придраться и поёрничать по поводу написанного тобой, то это – я чувствовал – и была высшая похвала, было признание того, что у тебя получилось, что вещь состоялась.

После похвалы известного, маститого литератора (кстати, неплохо осведомленного о современной азербайджанской литературе, потому как он переводил и наших писателей), я чувствовал, у меня начинается небольшая, временная мания величия, и чтобы в корне пресечь это вредное, хоть и приятное ощущение, я отправился в известное молодежное кафе «Метелица» и познакомился с симпатичной девочкой, которая здорово танцевала, вертя своей идеально круглой попочкой.

Я много писал в то время, видимо, интуитивно сознавая, что только практика (что бы ни говорила теория, литературоведение) поможет достичь профессионализма, и чем больше работаешь, тем скорее избавляешься от слабых, лишних, фальшивых сторон в творчестве, изживаешь их. Но жизнь молодого человека в Москве и, в частности, в стенах общежития Литературного, состояла, разумеется, не только из работы...

Наконец, после долгого хныканья, мне удалось добиться, чтобы родители, скрепя сердце, купили мне, тринадцатилетнему подростку, модные туфли, но случилось это летом, на даче, когда все мои товарищи и я были на каникулах, и я ни перед кем не мог похвастаться обновкой. Кроме того, мне, по моей настойчивой просьбе, заказали узкие, как кальсоны, брюки, что было в то время модно, я был счастлив, но снимать их (надевать еще куда ни шло) было мучительно и долго – ничего не поделаешь, мода порой бывает зла и непредсказуема. Это было в начале лета, и я боялся, что к концу летнего сезона, к осени, когда начнутся занятия в школе, мода изменится, и опять станут носить широкие расклешенные брюки и тупоносые туфли. Я часто открывал картонную коробку, в которой аккуратно были уложены мои новенькие туфли с твердой кожаной подошвой, брал их в руки и нюхал. Мне нравился их запах, он напоминал мне город, я был до мозга костей городским, любил город и не очень любил бывать на даче; на даче я скучал, разве что поездки на пляж немного развеивали эту скуку. Я до сих пор помню запах этих туфель, они были желтого цвета и пахли кожей и клеем, и этот запах запомнился мне, как один из запахов, окружавших меня в детстве.

Запахи – самый верный ориентир, самый близкий путь, чтобы вернуться в детство. Я надевал носки, брюки, осторожно влезал, помогая себе рожком, в туфли и с наслаждением, медленно ходил по комнате из угла в угол, не сводя взгляда с желтой, блестящей кожи новенькой обуви, не обращая внимания на то, что моим ногам, огрубевшим, немного опухшим от ходьбы босиком по горячему песку, тесновато и не очень комфортно в ней; потом снимал туфли и аккуратно укладывал в коробку, с сожалением временно расставаясь с ними. Как-то за этим занятием меня застала мама – я ходил по комнате и любовался на обновку – и отчитала.

– Не надо привязываться к вещам, – сказала она. – Наши вещи не должны жить дольше нас, это всего лишь туфли, и у тебя в жизни будет еще много пар обуви.

Она была права, но именно эта пара обуви, как и многие другие воспоминания из моего детства, имеющие яркие цвета и запахи, или неудовлетворенное и все еще

острое чувство нанесенной и не отмщенной обиды, помогали мне вернуться в те далекие годы.

А, кстати, зачем возвращаться? Многие люди процветают, купаются в роскоши и довольстве, полнокровно живут сегодняшним днем, прагматично, по-деловому относясь к каждому дню, каждому часу, или же – напротив: живут, не вылезая из безденежья, прозябают, день и ночь стараются улучшить свое существование, обеспечить семью; и те, и другие вряд ли стараются детально, полностью вспомнить свои детские годы; первой категории это ни к чему, а второй – не до того.

Но все-таки возвращаться в годы детства нужно, необходимо, хотя бы ради того, чтобы твердо знать: у тебя было детство, детство у тебя было; а без этого далекого прошлого настоящее – это дом на песке, если, конечно, речь идет о людях, уважающих свои чувства и воспоминания. Детство – это теплое течение в буднях твоей жизни, и у многих с возрастом оно иссякает или смешивается с холодным, это течение. И важно сохранить его первозданно теплым.

В годы учебы в Литературном меня стали печатать, и однажды я с гордостью принес журнал со своим первым опубликованным рассказом, чтобы его выставили на стенде в коридоре института, как делали со всеми студенческими публикациями. Я был не первый и не последний студент, работу которого опубликовали, за стеклом на полке стояли газетные листы и журналы со студенческими статьями, стихами и прозой, но мне казалось, что мой рассказ – особенный, он должен больше привлекать внимания, как думает каждая мама о своем малыше, что он – самый лучший на свете. Первая публикация очень важна в жизни молодого писателя, я будто прилив сил почувствовал и стал писать активнее и работать вдумчивее. На первый свой гонорар я купил свою первую пишущую машинку «Эрика» (она же и последняя, потому что в дальнейшем я очень полюбил её, любил на ней работать, она была для меня как живое существо, я много раз за долгие годы отдавал её в ремонт, но не расставался с ней), правда, гонорара, чтобы оплатить целиком долгожданную покупку, не хватило, но тут помогли родители, прислав мне недостающую сумму. В общежитии мало у кого была пишущая машинка, некоторые брали из проката, и мою «Эрику» часто просили товарищи; я неохотно давал, просил обращаться аккуратно, а впоследствии научился отказывать, приводя убедительный довод: даже когда мне не работалось, я заправлял в машинку чистый лист бумаги, чтобы создать видимость, что машинка мне самому нужна в данный момент. Мне не хотелось отдавать её в чужие руки, и шел я на это, скрепя сердце.

Вслед за первой публикацией пошли другие, стали выходить книги, я начал писать сценарии для художественных фильмов; теперь, когда прошли годы и десятилетия, многие из этих работ не сохранились даже в моих архивах (я никогда не обращался аккуратно с рукописями), но хорошо помню, что, начав печататься, я стал более строго и избирательно относиться к своим работам. Как-то, приехав на зимние каникулы, я собрал целый чемодан неудавшихся, на мой взгляд, рукописей, поехал на дачу, вырыл на открытом месте яму, свалил бумаги в эту яму и сжег без сожаления. В активе оставались более удачные произведения, их было немало, и это радовало. Радовало, что теперь я могу позволить себе, почти как профессиональный писатель, избавляться от более слабых вещей, не сожалея о потраченной работе и времени, потому что голова моя была забита новыми идеями и проектами.

Фантазии и сны не менее реальны, чем наша жизнь. Я многое почерпнул из снов и фантазий, вводя в них героев, наделенных чертами нескольких знакомых мне

людей, а то и дюжины хорошо знакомых, наделял их своими чертами, в результате получался живой образ, который вполне мог быть в жизни, со своим характером, внешностью, любимыми выражениями, характерной речью и жестами. Я, как на волшебство, смотрел на рождение такого человека, и все остальное вращалось вокруг него: все события, эпизоды, сюжетные линии. Как и в жизни, в литературе самым большим чудом является рождение человека.

Много раз я среди ночи вскакивал с постели и садился за письменный стол, чтобы записать то, что видел сейчас во сне, чтобы зафиксировать то, что меня потрясло своей неуловимостью, тончайшими, зыбкими очертаниями, эфемерностью и в то же время пронзительной чувственностью, но трудно было ухватить нечто воздушное, уплывающее и тающее, как облако на солнечном небе, и передать его грубыми словами, почти никогда не передающими тонкие чувства. Я начинал понимать, как писатели сходят с ума.

До моих одиннадцати лет мы снимали квартиру напротив мечети «Тезе-пир», о которой я уже упоминал. Тогда улочки нашего города были кривыми, горбатыми, и весь город сосредотачивался там, что сейчас называют центром города, хотя сейчас центр не один, а несколько. Но тот пятачок, где многие проживали в середине прошлого века, был и центром, и всем городом. Рано утром – зимой было еще темно, как ночью – с минарета мечети муэдзин пел азан, напоминая верующим о времени утреннего намаза – молитвы. Пение его просачивалось в мой сон, и видения мои становились грустными, под стать азану, и не хотелось просыпаться, а хотелось зарыться в одеяло и не вставать, не ходить в школу, не возвращаться, как каждое утро, в этот грустный мир. Но мама меня будила, и я все-таки поднимался, боясь опоздать. Я всегда боялся опоздать, боюсь до сих пор. Даже туда, куда опаздывать нужно, куда все опаздывают. Нет, я всегда приходил первым, за две-три минуты до назначенного часа. Зимой вставать рано утром и идти в школу было мучением, приходилось пересиливать себя и по полутемной, еще не проснувшейся улице, с портфелем в руках, тащиться на уроки, встречать обгонявших меня одноклассников, таких же сонных и вялых. Но в школе я оживал, на беду учителям, правда, это длилось всего несколько лет; после начальной школы, в старших классах, я был уже не таким диким, энергии поубавилось, но из школы я мало что вынес, кроме любви к чтению и писанию сочинений; тут я мог такое напридумать-нафантазировать, что порой учительница не могла понять, что я хотел сказать, а я, в свою очередь, не мог вразумительно объяснить: слова одно за другим стремительно вылетали из меня, наваливаясь на тоненькие, тщедушные мысли и погребая их под собой; как дети в игре «куча-мала», когда самые слабые остаются внизу кучи, попискивая и стараясь высвободиться.

С нами в Литературном учились-студенты иностранцы, в основном, из стран социалистического лагеря: Болгарии, Польши, тогдашней Чехословакии, тогдашней Югославии, и был один студент из Каира, примерно мой ровесник, звали его Хасан, сын богатых родителей. Я тогда плохо представлял себе, как привольно могут жить сыновья богатых родителей в капиталистических странах, потому что, в противоположность им, дети богатых родителей в нашей стране, конкретно – в моем городе, были весьма ограничены в своих возможностях по сравнению с тем же Хасаном, рассказы которого об «их нравах», об «их неправильном, загнивающем строе» я слушал с открытым ртом. Ведь советские богачи, как правило, боялись откровенно выставлять свое богатство, пользоваться всеми благами, которые могли предоставить им большие деньги: они не могли покупать по нескольку машин, или яхты, или виллы,

или ездить в кругосветные путешествия, все деньги, заработанные или присвоенные ими, считались в те годы «нетрудовыми доходами», что каралось определенной и очень серьезной статьей Уголовного кодекса; и потому наши, советские миллионеры, старались жить тихо, как мыши, и детей своих принуждали жить по-мышиному, чего нельзя было сказать о том же моем друге Хасане. Я обычно проводил каникулы в своем родном городе, изредка выезжая в другие города, если появлялась возможность. Хасан же, кажется, на каникулах за время учебы в институте объездил полмира.

– В этот раз, – рассказывал он мне, – я полетел домой, но было скучно, и через неделю я поехал в Испанию. Великолепная страна. Я был в Кордове, на родине Лорки, в Мадриде… Ты бывал в Испании?

– Издеваешься? – уныло спрашивал я в свою очередь, и он вспоминал, что его вопрос на самом деле звучит издевательски для советского студента.

– А, да, – продолжал он. – Потом оттуда я слетал в Рим, давно хотелось посмотреть студию «Чинечитта», в которой работает Феллини. Это здорово! Потом я полетел в Нью-Йорк… Потом…

Он неплохо говорил по-русски, но словарный запас у него был небольшой, намного уступал географии его поездок по миру. Он каждый раз привозил мне подарки, то блок американских сигарет, то жвачки, а однажды привез и подарил мне пачку итальянских презервативов, за что я был ему по-настоящему благодарен: советские по своему качеству мало чем уступали наждачной бумаге. И вот как-то вхожу я к нему в комнату, а Хасан помирает со смеху один в комнате. Сначала я подумал, что он сходит с ума.

– Нет, – сказал он. – Это надо видеть.

И повел меня в комнату нашего сокурсника из Рязани. Хасан распахнул дверь соседа и показал на веревку, протянутую через всю комнату, предназначенную для сушки белья.

– Посмотри на это, – сказал он, показывая на веревку.

На ней сиротливо висел постиранный и вывешенный сушиться ярко-оранжевый презерватив.

– А что такого? – улыбаясь, сказал хозяин комнаты. – Жалко ведь такую вещь выбрасывать, пригодится еще на один разок…

Но, конечно, жизнь в Москве тех лет, по которой я порой очень скучаю, и учеба в Литературном не ограничивались только подобными забавными эпизодами. Жизнь моя была полна творчества, я работал увлеченно, азартно, порой – ночи напролет, забыв, что все-таки утром придется вставать и идти на занятия в институт, и дни, когда мне хорошо работалось (после нескольких публикаций я думал, что уже имею право называть то, что пишу работой, как настоящий профессионал), были наполнены радостью, заставлявшей биться сердце чаще, даже несмотря на то, что иногда работа шла мучительно тяжело. Главное – работалось, потому что даже тогда, когда я, можно сказать, делал свои первые шаги в литературе, мне пришлось испытать, что такое творческий застой, когда вовсе не работалось и приходилось заполнять дни свои сомнительными удовольствиями: студенческими пирушками, когда напивался до изжоги и не мог потом спать, и случайными девочками.

В детстве мы, как правило, хотим быть похожими на кого-то, на каких-нибудь киногероев, артистов, боксеров, но зачастую это бывают наши родители. Мы хотим подражать нашим отцам. Но мне не хотелось быть похожим на отца, потому что он

всегда не делал так, как я хочу: мне, шестилетнему малышу, очень не хотелось ходить с ним в баню, но приходилось, ничего не поделаешь; а потом, когда мы возвращались домой, мне очень хотелось выпить холодной сладкой газировки с сиропом, но папа не покупал, зная, что потом у меня начинает болеть горло.

– Дома мама даст нам чаю с вареньем, – успокаивал он меня. – Ты ведь любишь чай с вишневым вареньем?

– Ненавижу!

– Вот и отлично. Попьем чаю.

Хождение в баню было для меня, малыша, настоящей мукой: мы выстаивали огромную – часа на полтора – очередь, потому что в те годы мало у кого в квартире была ванная комната, потом, наконец, попав в отдельный номер, я готовился к экзекуции: папа так тер меня мочалкой, будто хотел помыть впрок минимум на полгода. Наконец, изнуренный, сонный, я выходил с ним на улицу и, через силу шагая, бормотал вполголоса, как странник в пустыне под палящим убийственным солнцем, нарочно выводя его из себя:

– Воды… воды мне… с сиропом… холодной воды… Ледяной…

– Помолчи. Вот придем домой, и мама…

– Воды!.. Умираю!.. С сиропом…

На годы моей учебы в Москве пришелся пик популярности знаменитой ливерпульской группы «Битлз». Вся молодежь пела и мурлыкала – если не было голоса – их песни, допотопные огромные магнитофоны таскали без устали из дома в дом, чтобы послушать песни этого квартета, передавали друг другу ленточные магнитофонные кассеты, о которых теперь никто, наверное, и не помнит. Я иногда думал – но никогда не высказывал эти мысли вслух – почему бы такой стране, в которой я живу, не пригласить этих всемирно известных музыкантов и не дать возможность людям послушать их, увидеть их; как это можно – делать запретный плод из того, что давно известно всему миру? Что такого плохого могут принести в Страну Советов такие талантливые исполнители потрясающих песен? Разве можно запрещать искусству пересекать границы какой-то одной страны, и разве оно уже не пересекло, так почему же нужно запрещать то, что должно быть доступно всем нам, так же, как и французам, американцам, испанцам? Такие вопросы постоянно тревожили и мучили меня, и не только в отношении моей любимой четверки музыкантов. Многое в страну, где я родился и жил, незаконно «просачивалось», а не приходило естественно, как в другие страны и города, доставляя людям удовольствие, наслаждение, и позволяя им смотреть на мир широко открытыми глазами. Но это уже была цензура, та самая цензура, зубы которой я вскоре ощутил и на своей шкуре.

Меня часто спрашивают журналисты: «Как вы пишете?» На такой вопрос можно ответить только шуткой, но остроумнее Бернарда Шоу трудно: «Слева направо». Я стараюсь отшутиться. Иногда получается, и довольно остроумно. Но, раз спросив, они не отстают, они добиваются серьезного ответа. Приходится соответствовать. Я напускаю на себя серьезный вид (что в данный момент плохо сочетается с внутренним состоянием) и начинаю объяснять, что пишу по-прежнему, как и сорок лет назад, ручкой, обыкновенной шариковой ручкой…

– Что вы говорите?! – однажды шутливо ужаснулась одна репортерша, которой, видимо, нечего было делать, и она несколько дней осаждала меня телефонными звонками. – Хорошо, хоть не гусиным пером, – съязвила она, вероятно, желая ото-

мстить мне за то, что я не сразу согласился на интервью.

Я же ничего полезного не вижу в этих интервью, за свою жизнь я надавал их тьму тьмущую, как и многие деятели искусств – артисты, художники, – не скажу, что я ярый противник подобных интервью в газетах, на сайтах, на телеканалах, за последние лет двадцать-двадцать пять количество всех этих средств массовой информации увеличилось стократно, их тоже можно понять, им же нужны объекты для интервью, вернее – субъекты. Но ничего полезного я в них не вижу, потому что в любом интервью можно наплести черт знает что. И никто не докажет, что наплел; напротив, чем интереснее и круче – как теперь принято выражаться – наплел, тем больше интервьюер тебе будет благодарен, потому что для него интервью с тобой – это товар: чем больше будут читать проведенное им интервью, тем известнее он станет, а уж с известностью они, народ ушлый, знают как поступить, не то, что я; знают, как превратить эту известность в презренный металл. Я часто пользовался предоставленной мне свободой и рассказывал им байки о своем прошлом, закручивал и перекручивал к радости репортеров. Все это несерьезно, для меня все интервью – это игра, в отличие от моей профессии, к которой я отношусь вполне серьезно, в прозе, в искусстве нельзя врать, нельзя фальшивить, надо оставаться до конца искренним, одна фальшивая нота, одна маленькая неправда, и вы можете лишиться доверия читателя, а, раз потеряв доверие, вы уже не сможете его вернуть, вы потеряете своего читателя. Маленькая ложь рождает большое недоверие, поистине так. Искренность – вот краеугольный камень литературы, вот та живая нить, что помогает автору нанизывать на неё свои впечатления, мысли, идеи, свое видение мира, каким бы фантастическим, абсурдным или сюрреалистическим оно ни было.

С этой иронично-язвительной юной репортершей надо было держать ухо востро. И я начал вешать ей на уши лапшу, впрочем, вскоре мне самому понравилось то, что я изрекал с умным видом.

– Видите ли, – говорил я, – когда пишешь ручкой по бумаге, то чувствуешь каждое слово острием ручки, пером, я бы даже сказал: кончиками пальцев…

На этом слове мне на ум пришло нечто неприличное насчет кончика, я чуть не улыбнулся, но сдержался и решил закончить в таком же серьезном тоне, как и начал.

– Это крайне важно: энергия слов, что пишет автор, передается с его пальцев, которые являются, естественно, продолжением его тела и, конечно, души, что находится в этом теле, и бумага принимает, впитывает эту энергию, и произведение получается полностью зараженным энергией (тут я решил подурачиться и посмотреть: клюнет ли рыбка), как говорил Сенека, надо заражать энергией, в том числе и сексуальной – особенно сексуальной – слабую половину человечества. Впрочем, вы знаете, во времена Сенеки слабая половина человечества была сильной. – На этом она покорно покивала головой, непонятно, чем у неё забитой. – Ну, потом, – продолжал я, – разумеется, я переношу написанное на компьютер, как раньше переносил на пишущую машинку, с которой долгое время, подобно Рэю Брэдбери, не хотел расставаться, а дальше уже дело техники, хотя и при переносе определенная редакторская работа проводится, не подумайте, что рутина…

Одним словом, интервью ей понравилось, особенно про Брэдбери, хотя я сомневаюсь, на самом ли деле это было, кажется, я слышал от кого-то, но это не имеет значения, если хочешь удивить репортеров, в особенности, если хочешь произвести впечатление на хорошеньких репортерш, покажи себя всезнайкой, можешь напридумать все, что взбредет в голову, например: «Пейте, но знайте меру, – как сказал в

начале войны 1941-1945 годов И. В. Сталин, он же отец народов, что проживали на территории СССР в те годы».

– Да? Он на самом деле так сказал?! – удивятся журналисты.

– А как же, – скажу я. – В то время подобные высказывания вождя всех народов и народностей в Стране Советов были весьма и весьма актуальны: вся страна безбожно пила, все в бочку лезли… А война?! Войну по пьянке не выиграешь. А вы, кстати, чтобы не быть голословным, посмотрите полное собрание сочинений Сталина, кажется, том одиннадцатый, издание 1949 года, страница 234…

Можете отрезать мне оба… ну, скажем, уха, если кто-нибудь из этих журналистов поинтересуется, есть ли вообще такое полное собрание сочинений Сталина.

Вот так порой я резвился, чтобы отдохнуть от основной своей работы, которая выматывала, изнуряла, выпивала мою кровь и энергию и все-таки делала меня счастливым.

Ребенком я был, скажу прямо, неуживчивым, любил командовать, хотел, чтобы мне подчинялись и исполняли мои команды, стратегически я видел всю игру полностью от начала до конца, когда мы, дети, на улице или во дворе школы во время перемены затевали какие-то игры, и потому мне казалось, что никто лучше меня не может привести к финалу эту игру; но, разумеется, находились мальчики, которым тоже нравилось подчинять себе, командовать и быть на виду; отсюда каждодневные конфликты, и надо было каждый раз доказывать, что прав именно ты, а доказательства, как правило, заканчивались синяками, шишками и царапинами. Между прочим, так же, как во взрослой жизни. Так что с полным основанием могу сказать, что мое детство исподволь, ненавязчиво подготавливало меня к взрослой жизни. И то, что, провожая нас из школы, взрослые, учителя в первую очередь, говорили затверженную фразу «Теперь вы вступаете в настоящую жизнь» или «Теперь вы стоите на пороге настоящей жизни», меня очень удивляло: разве все, что было до этого момента, не настоящая жизнь, а только приближение к её порогу? Разве все те чувства – мои тревоги, беспокойства, неуловимые ощущения, не облекаемые в слова, мои частые влюбленности, мои сны и детские размышления (так или иначе – о жизни) – не сама жизнь, а только подготовка к ней? Подобные высказывания взрослых разрушали во мне веру в их мудрость и дальновидность, но к тому времени, когда я заканчивал школу, мне было семнадцать лет, и многое во мне было уже разрушено.

Меня, как и многих подростков, мучили эротические сны, я представлял себе женщин, обычно тех, кого видел ежедневно: это были учительницы в школе, мамы моих одноклассников, что чаще других посещали школу, продавщица из булочной, куда я ходил за хлебом, женщины, что каждый день проходили по нашей улице и запомнились мне своими пышными формами. Я был крайне робок с девушками, а если ко мне обращалась какая-нибудь знакомая женщина или девушка из старшего класса, которая мне нравилась, у меня отнимался язык, я просто немел, не смея отвечать, и, наверное, производил впечатление слабоумного, случайно зачисленного в школу для нормальных детей. Ночью, засыпая, я отодвигался на самый край постели, прижимался к холодной стене, давая место этим женщинам, девушкам, я вечно спал на половине подушки, но утром, проснувшись, обнаруживал себя крепко обнимавшим подушку, словно это были груди неизведанной еще женщины. Мы, мальчишки, много рассказывали друг другу о сексе, о чем понятия не имели, и любили уличать друг друга во лжи, фантазиях, абсолютно оторванных от реальной действительности. И еще забавлялись тем, что шутя, но очень больно щипали друг друга в области сос-

ков, по себе зная о созревании за грудиной железы. Вообще много игр в этот период полового созревания было построено на жестокости, на том, чтобы причинить сопернику как можно сильнее боль, потому во время этих игр и начинались драки, если считалось, что кто-то перешел черту, перестарался, скажем, изо всех сил двинув ногой по мошонке товарища. Конечно, неизбежны были грязные разговоры о женщинах, которых мы вовсе не знали, а темы для разговоров заимствовали из репертуара так называемых «блатных», хулиганов и бездельников, что постоянно околачивались возле нашей школы, вращая в руках четки, передавая друг другу папиросу, начиненную анашой, и провожая старшеклассниц горящими взглядами.

Я в школе, начиная с первого класса, то есть, с семи лет, и до завершения среднего образования, постоянно влюблялся в кого-нибудь из девочек, иногда в девочек из старших классов, которые нас, младшеклассников, даже не замечали, я постоянно был в состоянии влюбленности; мои друзья знали об этом, как и знали каждый раз объект моей любви, и когда они говорили, кивая на девочку и подмигивая мне: «Смотри, твоя пошла…», мне это бывало бесконечно приятно, хотя во многих случаях «твоя» ни сном, ни духом даже не подозревала, что она моя. Изредка, даже нет, всего однажды, когда я учился в пятом классе, моя влюбленность неожиданно стала обоюдной, мне впервые отвечали взаимностью, и я с гордостью сознавал, что «моя» теперь на самом деле моя, что мы вместе уходим после окончания занятий в школе, что она моя ровесница из параллельного класса, что порой она сама берет меня за руку, когда мы идем по улице (правда, руки у неё всегда были неприятно потные), что на переменах она первая подходит ко мне, и мы стоим у окна в коридоре и разговариваем, и она никак не реагирует на смешки и ухмылки мальчиков, в отличие от меня. Однажды мы с ней вдвоем убежали с уроков, не со всех, с одного, кажется, или двух, и гуляли вокруг школы, болтая о пустяках; но это уже был поступок, даже вызывающий поступок: на виду у всех, не считаясь ни с кем, не дожидаясь, чтобы убегание или, как мы тогда называли, «шатал», стало бы всеобщим и мы бы присоединились к нему… Мне было почти двенадцать, ей месяца на два меньше. Она жила в доме на нашей улице, чуть подальше от школы, и по утрам, подойдя к нашему дому, дожидалась меня, чтобы вместе отправиться в школу, или же я, если выходил пораньше, стоял на углу дома, подальше от глаз мамы, и ждал её. Зимой рано утром еще было почти темно, и я, шагая рядом с ней, воображал себя в какой-то степени рыцарем, готовым защитить её от любой грозящей опасности. Но какая опасность могла угрожать нам, кроме насмешек одноклассников, кому мы были нужны? И случилось так, что любовь наша, точнее – моя, не дожила до шестого класса. Очень уж приставучей оказалась девочка, руки у неё были вечно потные, и этими потными руками она любила гладить меня по голове, когда никого не было рядом, по моей шевелюре, которой я гордился и только изредка, по крайней необходимости, позволял себя остричь; мне вскоре уже было неудобно, что мальчики подшучивают надо мной, любовь моя к девочке не выдержала испытания временем, но вместе с тем дала мне приятное ощущение, что в моем прошлом уже была неудачная, может, даже несчастливая любовь. И это придавало мне вес в собственных глазах, характеризовало, как маленького, начинающего сердцееда, этакого Дон-Жуана, охладевшего к предмету первой своей любви. После, расставшись с девочкой, почти без паузы, я влюбился вновь, но это была уже девочка не из школы, дальняя наша родственница, в компании которой я вместе с другими детьми встречал Новый год; влюбившись, я, как обычно, немел в её присутствии, но зато сразу же мальчишеская моя фантазия

включалась и работала с новой силой: то я вытаскивал её почти из-под колес машины, чуть не сбившей её, то дарил дорогие украшения, как – не раз видел в кино – дарят красивым женщинам; теперь я ей, этой девочке, предоставлял половину моей подушки по ночам, прижавшись к стене, чтобы не стеснять её. А бывшая моя любовь написала мне записку в стихах, в которых редко встречалась рифма, и где автор обвиняла меня во всех смертных грехах и прежде всего – в коварстве. Это мне тоже польстило, потому что в том возрасте, в котором я тогда находился, важно было хоть кем-то быть, хотя бы и коварным обманщиком, это все равно было лучше, чем не быть никем, когда чувствуешь, что к тебе относятся, как к пустому месту. Но вскоре, подумав, я понял, что мне не хочется быть коварным, даже в глазах одной-единственной девочки, что, вспоминая её записку, я испытываю тягостное ощущение, что быть коварным злодеем не лучше, а хуже, чем быть никем; хотя и то, и другое плохо; нет, злодеем мне быть не хотелось, потому что в мечтах и фантазиях, которых во мне был избыток и переизбыток, я всегда видел себя героем, способным на хорошие поступки, хотелось так и оставаться. В связи с этим я ответил своей «бывшей» девочке запиской в прозе (говорить с ней мне не хотелось, чувство ушло безвозвратно, и всякое живое общение, на которое она напрашивалась и которого я избегал, как мог, было бы мне неприятно), что я не коварный, и что её мама пожаловалась моей маме, что её дочь (то есть, ты) часто ожидает вашего сына (то есть, меня) на углу вашего дома, и это недопустимо, чтобы двенадцатилетняя девочка ждала мальчика рано утром, когда еще, можно сказать, не рассвело как следует, и потому мама (естественно, моя) меня отчитала, отругала и велела прекратить всякие отношения с тобой. И еще: у тебя потные руки.

На этом любовь наша, хоть и была когда-то обоюдной, безвозвратно кончилась.

Кажется, лучший совет молодым писателям, что давали знаменитости: «Если можешь не писать – не пиши». Советов было много, тьма, каждый умудренный писательской профессией хотел оставить после себя какой-нибудь совет. Например: «Если не знаешь, о чем писать, все равно – сядь и что-нибудь напиши». Все эти советы полезны и в чем-то правы, нацелены на то, чтобы помочь молодому писателю, и в смысле техники они оправдывают себя – и в самом деле, если не о чем писать, сядь и начни, ведь первая фраза, если ты её удачно придумаешь, потянет за собой вторую, потом абзац, потом – целую страницу, и работа пойдет, просто не надо лениться. Надо заставить себя работать. И это верно. Но верно и то, что «Если можешь не писать – не пиши», потому что все равно в этом «неписательском» состоянии у тебя не получится так хорошо, как когда ты будешь очень хотеть писать, когда руки будут чесаться сесть к письменному столу, а из ушей будет бить пар вдохновения, а за твоей спиной будет порхать ангел, прилетевший на биение твоего сердца. И то, что ты напишешь, создашь в таком вдохновенном состоянии, будет гораздо лучше, интереснее, талантливее, чем то, что ты писал без вдохновения, заставляя себя трудиться только ради того, чтобы оправдать свое призвание и свое звание – писатель. Технически все это верно, и нет, наверное, неправильного совета; но как можно научить магии, как можно научить другого человека ворожить и делать то, что дал тебе Господь, что вложил в душу твою. Если бы нужно было, Бог вложил бы в душу и того человека, которому ты хочешь помочь советом, но помогаешь только создать бескрылое произведение.

Думаю, в настоящем искусстве, в литературном произведении не должно быть

одного цельного сюжета, как нет такого сюжета в жизни, полной огромного количества сюжетов; сюжет – это всегда надуманное, чтобы завлечь читателя, всегда нечто, сковывающее автора, диктующее ему, куда направиться, и потому искусственное; в жизни мы живем изо дня в день, она течет, наша жизнь, не по сюжету, мы стараемся придать ей, навязать сюжет, чтобы было куда идти, чему соответствовать, но она легко отбрасывает навязанное; настоящая вольная жизнь человека, какой он и должен жить на земле, не должна быть одета в рамки сюжета, так же, как не должно быть одето произведение, если только оно о жизни, если оно жизненно. Но любое произведение – с сюжетом оно или без – это рамки, ограничивающие разными литературными правилами и законами то, что автор пытается сказать; и как бы мы ни старались разорвать эти рамки, эти ограничения, мы, только – и то при большом таланте и огромных возможностях – разорвав, сломав ненавистные нам рамки-ограничения, тут же создаем новые, ибо, как бы мы ни старались, искусство – все-таки не жизнь, и только жизнь вольна поступать, как хочет, вильнуть в любую неожиданную для нас сторону, а искусство, литература не свободны, они будут поступать по правилам, по своим законам. И потому даже великие писатели, максимально приблизив свое произведение к жизни, все же отдаляются от неё, подчиняясь правилам искусства, законам литературы. Однако кому нужны все эти рассуждения, если, как там ни крути, литература нужна читателям, и в любом случае это – прежде всего развлечение, надо заинтересовать, развлечь читателя, тогда он будет читать твои книги. Но развлекая, писатель должен довести в доступной, популярной форме свои мысли до читателя, то, что давно не дает ему покоя, что тревожит, заставляет задуматься среди докучающего быта. Постараться сделать читателя лучше, заставить его думать о простых человеческих ценностях, понять, что есть ценности духовные, что жизнь не только материальна, заставить его проникнуться идеями автора. Может, я слишком идеализирую сегодняшнего читателя, которого уже принято называть современным словом «потребитель»?..

Как-то – мне было одиннадцать лет – отец привез из поездки в Шамаху прекрасное домашнее сладкое вино. Врачи в то время посчитали, что у меня малокровие, и рекомендовали такое вино по чайной ложке три раза в день. Первая ложка мне так понравилась, что я немедленно потребовал вторую. Но мама, послушная рекомендациям врача, сказала мне, что вторую я получу только после обеда, а третью – после ужина. Вино было в большой канистре, литров на двадцать, и отец перелил его по трехлитровым стеклянным банкам, чтобы не хранить в пластмассовой емкости.

На следующий день, когда отец был на работе, а мама стирала во дворе возле водопроводного крана белье, я, еще больше раззадоренный предыдущими микроскопическими приемами этого, с прекрасным ароматом и вкусом, вина, решил, что такими порциями, какие прописал мне врач, невозможно как следует распознать вкус вина, и пора проявить инициативу и действовать самостоятельно. Я поставил под ноги табурет, поднялся к шкафу, раскрыл обе створки (такое я проделывал с вареньем, так что какой-то опыт имелся), легко открыл банку, горлышко которой было заткнуто тряпкой, и приложился к этому горлышку, чуть пригнув банку к себе. Я жадно отхлебнул изрядный глоток, потом еще и еще, и тогда почувствовал горечь градусов, что таились в вине, о чем я, конечно, не имел представления, думая, что оно будет на вкус точно таким же, как в той дозе, что я принимал трижды в день. Потом я аккуратно, как смог, закрыл тряпкой банку, слез с табурета и… мгновенно опьянел. Я почувствовал себя очень странно, вино ударило мне в голову, немного

подташнивало, кружилась голова, хотелось прилечь – однако все это со мной уже бывало, но самое странное, что я вдруг беспричинно развеселился, не понимая, что со мной происходит, вышел во двор и стал безостановочно нести околесину, напугав маму. Я тоже испугался этого своего непонятного состояния и заплакал. Потом меня рвало, а мама так перепугалась, что даже забыла отчитать меня, впрочем, в те минуты я плохо соображал и ничего бы не понял, потому она не стала зря тратить слова, а умыв, уложила меня в постель.

После этого случая соседи – а жили мы в доме с маленьким двориком, куда выходили все соседские окна и двери, – еще долго шутливо окликали меня:

– Эй, алкоголик, как сегодня, опохмелялся?..

– Смотрите, пьяница из школы вернулся…

Но я не обижался, напротив, мне было даже немного приятно, что в моей одиннадцатилетней жизни произошло такое, чего не было еще ни с одним моим сверстником. Хотя не обошлось без взбучки на трезвую голову.

В жизни мне встречалось много хороших людей, и я с удовольствием с ними общался; но порой бывало, что человек, по общепринятому мнению «хороший», про которого говорили «мировой парень», «отличный мужик» и прочее, вдруг, как говорится, невзначай, между хорошими делами – делал гадости. Я знаю и знал всегда (потому что по себе знал, а копаться в себе – уж что-что, а это я умел), что человек не может состоять только из светлых тонов, в нем кроются и отрицательные качества, и время от времени они, эти качества, поднимают голову и просятся наружу; и в своих книгах я никогда не создавал некие идеальные образы, или же черно-белые персонажи, человек состоит из многих оттенков, многих цветов, он – разный и может быть разным даже в течение одного дня, и только руководствуясь отличным знанием человека, можно создать в литературе интересный образ, который читатель будет примерять на себя, поведение, судьбу и жизнь которого ему станет интересно домысливать, если, конечно, он обладает читательским – а не потребительским – воображением. А образ, герой в произведении – это самое главное, краеугольный камень, как говорится – альфа и омега. Так же и в «плохом» человеке хорошие, добрые черты характера заставляют его временами делать добрые дела; нет целиком ни отрицательного, ни положительного персонажа, говоря языком литературы. Однако когда хороший, по общепринятому мнению, человек за моей спиной неожиданно делал мне гадости, этот поступок все же выбивал меня из состояния равновесия, как бы я ни утверждал про себя, что в нем таятся и плохие черты, и надо быть к этому готовым. Трудно было доказать окружающим, что человек, о котором они долгое время думали чуть ли не как об идеальной личности, как о верном друге, надежном товарище, что этот человек предал, что прорвало плотину и копившийся негатив хлынул наружу. Впрочем, я и не собирался что-то доказывать. Но подобные ситуации наводили меня на мысль: как же этот человек в дальнейшем будет себя чувствовать, зная, что сделал откровенную подлость, скрытно, тайком, беспричинно, как он и дальше будет носить на себе ярлык «хорошего человека»? Если он остается хорошим для ста человек, но делает подлость одному, можно ли считать его по-настоящему порядочным человеком? Многое в жизни заставляет нас задавать вопросы и переводить эти вопросы в искусство, в литературные произведения…

Вот, кстати, пример о «хороших» и «плохих». Была середина июля, стояла дикая жара, и я тихо скучал и киснул на даче без друзей, товарищей, сверстников, когда на дачу к нам вдруг заявился мой одноклассник. Был он на два года старше

меня, потому что пошел в школу на год позже и оставался на второй год в пятом классе. Мы никогда с ним близко не дружили, я старался не сближаться с ним; честно говоря, я не переваривал его, видел его подлые штучки, когда он подставлял товарищей, и держался от него подальше: часто, когда он курил во дворе школы чужие сигареты, которые постоянно клянчил у старшеклассников, и неожиданно появлялась директриса или учителя, он мгновенно ловко, отработанным жестом пихал свой недокуренный окурок в рот близстоящему однокласснику (потому что одноклассников, в отличие от ребят из старших классов, он не боялся) и, мало того, тут же привлекал внимание учителя какой-нибудь пошлой и подлой репликой:

– Ай-яй-яй! Какой невоспитанный мальчик, курит при старших!..

Естественно, учитель, проходивший мимо, даже не замечая нас, тут же оборачивался и реагировал. И в результате его реакции ни в чем не виновного мальчика вызывали в кабинет директора или велели прийти назавтра с родителями. Так он подставлял других ребят. Но меня пока что не мог, потому что я всегда держался от него на расстоянии – видимо, в данном случае все-таки сыграла роль часто произносимая мамой реплика: держаться подальше от подобных типов. И посчитав, наверное, что раз между нами никаких конфликтов не было, и потому мы можем считаться товарищами, он, разузнав, где находится наша дача, приехал и упал, как снег на голову посреди жаркого июльского дня. У него в запасе было еще много подлых штучек. Он хорошо знал болевые места и всегда старался побольнее ударить, ущипнуть (между прочим, щипки загрудинной железы ввел в моду между нами именно он), одним словом, был большой мастер на всякие подлые штуки. Но, как начинающий мерзавец, умел втереться в доверие к учителям, к директору, подлизывался откровенно к взрослым.

– Здравствуйте, уважаемая такая-то и такая-то, – с приветливой улыбкой обращался он к учительницам, уже похотливо и молниеносно скользя взглядом по их грудям и бедрам. – Как поживаете? Очень рад вас видеть. Как дома? Все, слава Богу, здоровы, надеюсь?

И это говорил четырнадцатилетний подросток, вызывая удивление учителей. Но постепенно все привыкли к такой его манере разговаривать и даже хвалили.

– Какой воспитанный мальчик. Хороший человек из него вырастет, – прогнозировали учителя, которые, как оказалось впоследствии, не видели дальше своего носа.

Мы же рядом с ним могли только по-детски прыскать и хихикать над его такой изысканной речью и повадками взрослого человека. Но стоило учителю скрыться, как поганый характер второгодника прорывался, и он, как изверг, делал гадости и подлости. Конечно, никто с ним не дружил и мало кто любил его. Но ему это было безразлично, для него важны были взрослые, от которых зависели его оценки, его дальнейшее продвижение в школе, он потребительски уже в его юные годы относился ко всему, и все равно в силу своей чудовищной тупости, даже при таком чичиковском характере умудрялся получать двойки; а некоторые учителя, особенно учительницы, приняв во внимание его мольбы и настоятельные просьбы, натягивали ему тройку, хотя больше, чем на «два», он не отвечал урок, и каждая тройка была для него большим праздником. А на нас, мальчишек, ему было наплевать – ведь мы не могли серьезно навредить ему, и он всячески издевался над одноклассниками, давая волю своим садистским наклонностям.

Поговаривали даже, что он доносит директрисе обо всех наших проделках, о

«противозаконном», что происходит в нашем классе, и в особенности об одном нашем товарище, отец которого был главным врачом в больнице и ездил на работу на персональной машине с шофером, и наша директриса часто вызывала в кабинет этого мальчика, делала ему серьезные внушения, а он, бедный, не мог понять, откуда ей известно о его шалостях, которые он совершал далеко от глаз учителей; потом её внушения кончались тем, что шофер, привозивший в школу папиного сыночка, вытаскивал из машины объемистые пакеты и вносил в кабинет директрисы.

Вот такого гостя в лице пронырливого одноклассника послал мне Бог в жаркий летний день на даче. Он выглядел старше своего возраста: молодой человек, с уже пробивавшимися на груди волосами и жиденькими редкими усиками, любивший демонстрировать свой пенис в туалете на переменах, орошая стены туалета, вместо того, чтобы мочиться в писсуар. Однако взрослые и учителя, и даже наши родители, не имевшие представления о его характере, глядя, как он, вежливо здороваясь, несколько слащаво улыбается им, поговаривали:

– До чего же приятный и воспитанный мальчик.

Такой приятный и воспитанный мальчик неожиданно приехал ко мне в гости.

Но я, изнывающий от скуки на даче среди бабушек и прочей пожилой родни, с утра до вечера только и знавшей, что делать мне замечания, я, которого в эту адскую жару не пускали поехать на пляж, даже такому гостю был рад. Он для меня был как вестник из города, который я любил больше, чем все дачи на свете, он среди июльской дачной жары привнес в мою жизнь дыхание города, гуляние с мальчиками по любимой центральной улице, каникулярные шалости на бульваре и многое другое городское, по чему за полтора месяца пребывания на даче я успел соскучиться.

Конечно, мой одноклассник, этот приятный и воспитанный, сразу же завоевал расположение всех взрослых на даче, втерся к ним в доверие, расспросил о здоровье, поцокал языком, покачал головой, сожалея о болезнях, пожелал скорейшего выздоровления и в итоге был моими бабушками и тетями накормлен до отвала, как самого меня редко кормили.

– Какой воспитанный мальчик, – говорили все наши родные на даче, обращаясь ко мне. – Вот видишь, бери пример.

А мой отец, приехав с работы и познакомившись с ним поближе (видел папа его несколько раз мельком при незапоминающихся обстоятельствах, но теперь познакомился и был в восторге от знакомства с моим одноклассником), сказал маме:

– Этот мальчик далеко пойдет, увидишь, он станет министром, не то, что наш оболтус.

На что мама тихо вздохнула, думая, скорее всего, об оболтусе, а не о будущем министре.

Сразу оговорюсь, что блистательная прозорливость отца в данном случае не оправдала себя: много лет спустя я встретил этого «министра», он был в шинели и очень был похож на себя в детстве, несмотря на то, что прошло почти сорок лет с тех пор, как мы виделись в последний раз. Мы разговорились, и я узнал, что он работает в тюрьме надзирателем и хорошо… чуть не сказал – зарабатывает… нет, слово неподходящее, имеет хорошие деньги на своей работе. Он был очень доволен своей жизнью, своей семьей, своей квартирой и машиной. А прощаясь, посмотрев на меня, писателя, снисходительно-начальническим взглядом, произнес:

– А ты, писатель, напиши про нас тоже, тружеников тюрем и лагерей. Наша жизнь полна интересных событий.

– Я писал о заключенных, – проинформировал его я. – Ты просто не читал.

– Да? Ну, ну…

И он пошел к своей дорогой иномарке, оглянувшись на меня, чтобы узнать, произвел ли впечатление.

Вот он приехал ко мне на дачу, рассказал о городских событиях, про наших ребят, про улицу, соседнюю с нашей, где он жил в однокомнатной квартире с матерью, без отца, который их давно оставил (вероятно, в отличие от моего отца, предчувствуя, что сын его будет работать тюремным надзирателем), рассказал о «блатных», которые все еще околачивались возле школы, хотя никого там уже не было, и сидели на корточках, поджидая сентябрь, когда станет веселее, станет интереснее, станут пробегать мимо юные девушки, которым можно будет говорить вслед тихие непристойности.

– Скучно в городе, – заключил он свой рассказ. – Жара ужасная. Вот и решил навестить тебя, чтобы и тебе не скучать тут одному.

«Осчастливил», – хотел сказать я, но промолчал, потому что в эти минуты, снова вспомнив дачную скуку, особенно по вечерам, когда, ложась спать под марлевый полог от комаров, готовишь себя на съедение и потение (конечно, в те годы о кондиционерах даже не слыхали), я был на короткое время по-настоящему рад даже ему, с которым меня не связывали ни дружба, ни приятельские отношения; о моей неприязни к нему я старался не думать.

Он, накормленный до отвала (и я вместе с ним), естественно, остался ночевать – кто же отпустит гостя на ночь глядя, причем четырнадцатилетнего мальчика?

Мы тихо, почти шепотом проболтали с ним полночи, лежа на соседних кроватях под марлевыми пологами; он рассказал мне, наверное, то, что мало кому рассказывал о своем детстве (видимо, ночь и шепот располагали к откровенности, и на него напал кратковременный приступ искренности): об отце, которого не помнил, но о котором ему часто говорила мать, описывая отца страшным извергом и добиваясь, чтобы сын возненавидел его, о том, как им живется на одну маленькую мамину пенсию по инвалидности, о том, что он плохо запоминает, когда учит уроки дома, и мама говорит, что у него что-то стало неладно с головой после того, как он годовалым скатился с высокой кровати на пол; а я слушал его и думал, что, может, он и не такой уж плохой человек, как мы, почти все его одноклассники, привыкли о нем думать.

Но наступило утро. Он покатался на моем велосипеде по улице возле дачи из конца в конец, потом мы позавтракали, и нас послали на рынок за овощами и зеленью к обеду. Мама дала мне денег на продукты, заставила надеть затасканную дачную обувь, чтобы горячий асфальт не обжигал ступни (товарищ мой, отказавшись от дачной обуви, пошел босиком, и тут стараясь показать себя взрослым, которому, в отличие от меня, мальчишки, нипочем горячий асфальт), дала сетку-авоську и отправила за покупками.

Как только мы вышли на улицу, мой одноклассник попросил у меня денег, чтобы купить сигареты.

– А что я скажу дома? – спросил я. – Она же дала мне на продукты.

– Да мы купим самые дешевые, твоя мама и не заметит, что сдачи меньше, – сказал он.

Всю мою творческую жизнь, сколько помню, мне приходилось воевать с чиновниками от литературы, с чиновниками от кино, а лет тридцать назад – с чиновниками-цензорами, приставленными к писателям и другим творческим личностям,

чтобы те не писали бы лишнего, знали бы свое место, писали бы то, что разрешено властями и цензурой, ни в коем случае не переходя границ дозволенного. А что дозволено, устанавливали они сами, чиновники, возомнившие, что лучше профессиональных писателей понимают в литературе, и давно и безнаказанно сами перешедшие всякие разумные границы запрета.

– В вашей пьесе мужчина насилует малознакомую женщину прямо на остановке автобусов, – говорит мне цензор.

– Он нехороший человек, – успокаиваю его я, – отрицательный персонаж.

– И все-таки, – не унимается он, – прямо на остановке…

– Это ночью, – напоминаю я ему. – На безлюдной остановке.

– Как это будет выглядеть на сцене, как вы себе представляете? – он смотрит на меня, как на провинившегося мальчика, которого надо проучить ремнем. – На сцене государственного театра?

– Мы с режиссером что-нибудь придумаем, чтобы выглядело прилично… – отвечаю я. – Намеком…

– Намеком, – повторяет он ядовито. – Нет, я не могу это пропустить.

И так далее, в течение двух с половиной часов он пьет мою кровь, точно зная, что можно и что нельзя пропускать в искусстве. Сейчас, к счастью, цензуры нет, но чиновники, разумеется, все еще остались, и они вторгаются в произведения авторов, в наши книги, сценарии, учат, как надо писать – как же, ведь они работают в министерстве. Кому, как не им, знать, как надо правильно писать и создавать произведения, книги и фильмы? Мало того, они сами возомнили себя писателями, драматургами, они начинают писать сценарии, иногда их жены начинают на пятьдесят пятом году жизни писать пьесы (вдруг прорезывается талант, представьте себе, как зуб мудрости). Не понимаю, зачем это им? Ведь работа в министерстве обеспечивает им вполне безбедную жизнь и много поводов для разнообразных прибылей. Тем не менее, они пишут. Хотят увековечить свое имя, что ли? Но ведь для этого прежде всего нужен талант… Один чиновник пишет, а другой, сидящий в соседней комнате, у него эту писанину покупает. И хорошо покупает, за хорошую цену, а тот, соответственно, хорошо продает, за хорошую цену. Так что – раздолье, пиши – не хочу.

Одним словом, пришлось мне купить пачку дешевых сигарет, которые и курить-то было мерзко, не знаю, что за удовольствие он нашел в них. Мы пыхтели сигаретами, шагая к базару, у меня во рту появился кисловатый привкус, как бывает, когда мутит и вырываешь, и я выбросил окурок.

– Только сигареты переводишь, – сделал он мне замечание, как заядлый курильщик мальчику, балующемуся сигаретами.

Когда мы возвращались домой, нагруженные покупками (он – с потухшей сигаретой, прилипшей к губе, что считалось особым шиком в среде блатных), он, кивнув на блондинку, садившуюся в старенький, но хорошо сохранившийся и разукрашенный разной блестящей мишурой (как и блондинка) «Москвич», бросил ей, проходя мимо:

– Какая красотка!

Блондинка была вызывающе яркой, такое встречалось в здешней сельской местности нечасто, и потому привлекала внимание, и все шоферы рейсовых автобусов на остановке близ нашей дачи, которых окрестили «банда-база», в силу того, что в большинстве своем они состояли из криминальных элементов, одновременно по-

вернули головы, провожая её взглядами, и, конечно, слышали реплику, брошенную моим товарищем. И не успели мы отойти от машины, в которую уже уселась блондинка, как «Москвич», с визгом взяв с места, рванул вперед и преградил нам дорогу, а из машины вышел мужчина лет сорока-сорока пяти и пошел на нас. Не сразу я заметил в руках у него блестевшее лезвие ножа, отражавшее солнечный луч.

– Ну, щенки, что вы ей сказали?!

Я, честно говоря, перетрусил, но мой товарищ испугался еще больше, он выронил авоську с овощами, что держал в руке, выронил окурок, что держал в губах, строя из себя взрослого, «блатного», и прямо на глазах, заметив нож в руках мужчины, описался.

Злость захлестнула мне горло, мне, несмотря на мой испуг, хотелось наброситься на этого выродка, что с ножом идет на подростков, хотелось отомстить ему, но что я мог поделать? И я решился на единственное, что было в моих силах: стал громко, истерично звать отца, который, к счастью, был дома по случаю воскресенья. Мы стояли в двух шагах от дверей нашей дачи, и отец выскочил моментально – наверное, его напугал мой истошный крик; он был в пижамных брюках и майке и, выскочив на улицу и заметив нож в руке подонка, моментально оценив обстановку, подбежал к мужчине с ножом и со всего размаху ударил его кулаком в челюсть, так что тот рухнул на землю. Но, упав, мужчина тут же вскочил на ноги, покачиваясь от зубодробительного удара, торопливо влез в машину и стремительно укатил прочь.

– Домой, – приказал мне отец, проследив взглядом за удалявшейся машиной.

До вечера женщины на даче – бабушки и тети – обсуждали ситуацию, в которой мы с моим товарищем были главными действующими лицами; я получил серьезную взбучку и обещание, что целую неделю буду под домашним арестом, никакого пляжа, никаких других развлечений (можно было подумать, что я до этого дня не подыхал от скуки на даче, а постоянно развлекался), но маме больше нечего было придумать, кроме лишения меня поездок на пляж. Отец ничего не сказал. И только после того, как мой одноклассник уехал, заставил меня наедине с ним подробно рассказать об инциденте, что я и сделал, честно признавшись и рассказав все, как было. Зачем мне было скрывать, пусть он знает о детских поступках будущего министра…

Настал сентябрь, закончилась дачная пора, и надо было идти в школу, чему я и соответствовал с большой неохотой.

Во время перемены гостивший у нас на даче мой одноклассник, отделившись от группы мальчиков и подойдя ко мне, стал истошно орать:

– Папа-а-а! Папа-а-а!

Я вспомнил случай, который с нами произошел в июле на даче, и понял, что он передразнивает меня, звавшего тогда отца на помощь; а по реакции и смешкам одноклассников, от кучки которых он только что отошел, я догадался, что он рассказал об этом случае им, наверняка выставив меня, а может, и моего отца в неприглядном, смешном виде, потому они и хихикают. Я ничего ему не ответил, хотя очень хотелось, я даже забыл, что он от страха обмочился тогда, и не ему, а мне бы стоило его передразнивать, но в ту минуту я сильно разозлился, понервничал, а когда я злюсь и нервничаю, у меня появляется косноязычие и мой корявый, беспомощный ответ мог бы вызвать не только смешки, но и хохот товарищей, готовых хохотать по любому поводу.

Раньше я любил часто выезжать в Дома творчества писателей, которые, как правило, располагались в живописных уголках разных республик, входивших в состав

одной огромной страны, «необъятной», как было принято говорить, будто кто-то вообще пытался её «объять»; выезжал я с целью поработать, как и принято, когда отправляешься в Дом творчества писателей, но вместо того просто отдыхал, набирался впечатлений, знакомился с женщинами, кутил, и три недели, которые были отведены для работы, именно для работы, безвозвратно пропадали, но я возвращался довольный, зная, что дома наверстаю, что дома мне всегда работается лучше, чем в поездках, и что жизнь, слава Богу, состоит не только из работы, но и из удовольствий. А удовольствий и новых впечатлений я старался набраться, чтобы потом быть уверенным, что не зря ездил. Я старался окружать себя женщинами и окружал, и они меня окружали, ну, может, не все сразу, но поодиночке окружали, если только такое возможно. Женщины, мир женщин, их внутренний мир и чувства мне всегда казались интереснее, чем внутренний мир мужчин, хотя и принято утверждать, что мужчины пока в большинстве своем умнее. Но то, что они умнее, и практичнее, и прагматичнее, как раз заставляло меня отворачиваться от них и поворачиваться лицом к «слабому полу», который постоянно доказывал мне свою силу. Создавать женские образы мне тоже было интереснее, чем мужские, хотя это было труднее: писать о мужчинах легче, потому что просто надо заглянуть в себя, говоря схематично и популярно, а потом дополнять другими чертами, которых, может, в тебе и нет, но есть в твоих знакомых и друзьях; а чтобы писать о женщинах, нужны дополнительные затраты энергии – надо перевоплощаться, надо влезать в их интимный мир и многое узнавать о них. Поэтому я любил общаться с проститутками, они были искренни, потому что нет такого, что проститутка при добром отношении к ней и небольшой переплате тарифа хотела бы скрыть от тебя. От них я узнавал много интересного о них самих, о женщинах, не принадлежавших к их категории, и о мужчинах, принадлежавших. В большинстве своем, несмотря на циничность и наружную грубость, проститутки бывают слезливо сентиментальны и мечтательны, и порой свои давние мечты, которые въелись в их мозг и сердце, в какой-то степени смешивают с реальной своей жизнью, разбавляя грязь и пошлость этой жизни. Они редко по-настоящему получали удовольствие от секса и очень забавно имитировали оргазм, чтобы каждый раз поощрять клиента. Много лет назад, неопытным мальчишкой, я покупался на этот обман, верил, что девушкам на самом деле доставляю истинное удовольствие; это придавало мне уверенности в моих мужских достоинствах, что было немаловажно в юном возрасте; но с годами я раскусил их, и, как бы естественно они ни притворялись, что испытывают настоящее удовольствие, я знал, что это чисто профессиональное. Но что из того? Они же ничего плохого не делали, просто хотели убедить меня, что им хорошо со мной, и я это ценил. У них не было сутенера, как обычно во многих крупных современных городах, но были женщины, так называемые бандерши, или, как в народе их зовут, «мамы-Розы», эти вышедшие в тираж бывшие профессионалки; они давали девушкам приют в своем доме, в квартире, где жили сами, превращая свой дом в притон и неплохо наживаясь на молоденьких девушках, обычно приезжавших в столицу из районов страны. Девушки были разные, одни, поднаторевшие в своей профессии, нахальные, горластые, требовали оплату заранее, и если их пытались обмануть, поднимали скандал при людях, не считаясь с тем, где находятся; а находились обычно именно там, где поднимать скандал не возбранялось. Этих не раз в прошлом обижали, не платили, прогоняли, оскорбляли, бывало, и били. Наученные горьким опытом, они теперь старались не упускать свое, а при возможности еще и урвать чужое. Другая категория девиц легкого поведения со-

стояла из неопытных еще молоденьких девушек, возжелавших комфортной жизни в большом городе и видевших пока все вокруг в розовых тонах – жизнь еще не успела их потрепать; многие шли зарабатывать своим телом из нужды, не умея заработать другим способом. Но почти все они были типажами для литературного произведения, и я старался разговорить их, на что порой, разоткровенничавшись после секса и бокала-другого, они сами охотно шли, стараясь поинтереснее и подраматичнее рассказать про свою «житуху», и беседа наша проходила в теплой и дружественной обстановке.

Волшебство рождения образа для меня почти то же, что тайна рождения ребенка; это на самом деле волшебство, когда из ничего, из воздуха, из не видимой глазом мысли, из слов и фраз, выстроенных друг за другом, появляется вдруг живой человек, которого любой читатель, даже не обладающий достаточным воображением, с легкостью может представить себе. Да, рождение образа – волшебство, даже если это образ проститутки, или вора, или еще каких-либо деклассированных элементов общества. Не следует к литературе относиться ханжески, в ней есть место всему, кроме пошлости и богохульства. Но даже этому есть место, если написано талантливо и убедительно, если сказанное вами потрясает читателя и заставляет поверить, что пошлость и богохульство, имея место в нашей жизни, имеют также право быть отраженными в искусстве, в литературе. Все очень индивидуально в писательском ремесле, до тех пор, пока оно не стало ремеслом, а писатель – ремесленником, профессионалом в плохом смысле слова, потому что у этого слова, несомненно, есть и плохой смысл, когда писатель заранее знает, где заставит читателя плакать или смеяться, где будет кульминация произведения, и читатель скатится, как с американских горок, сооруженных в книге, крича от страха, где закончит, чтобы читатель, а в данном случае – потребитель – остался доволен и не вознамерился потреблять дальше.

Но когда автора ведут чувство и учащенное биение сердца, когда без всякого одноразового сюжета вырастает из написанного живой человек, когда интуиция подсказывает ему дорогу, единственную, где он не заблудится и не заплутает среди слов, когда сердце писателя обливается горячей кровью, волнами, как прилив, набегающий и отступающий, чтобы он мог отдышаться, чтобы не задохнулся от такого великолепного счастья, когда как сквозь сон он продолжает писать, не в силах противиться и почти не вникая, когда происходит еще многое, многое другое, что я не могу перечислить, потому что ощущений, тонкостей в творческом процессе тысячи – вот тогда может родиться нечто настоящее, что читатель – не потребитель, а настоящий ценитель настоящей литературы – никогда не отшвырнет от себя, раз прочитав и подумав, что зря потратил время, но положит на свою книжную полку, чтобы попозже еще раз вернуться к этим строчкам, написанным сердцем автора. В жизни ведь по-настоящему нет сюжета, к которому мы привыкли в литературных или кинопроизведениях. Она сама по себе и не признаёт никаких ограничивающих её поток сюжетных рамок. Почему бы и этот роман не приблизить к жизни хотя бы по форме?..

Два раза на протяжении пяти лет учебы в Литературном меня вызывал ректор и отечески внушал, убеждал с требовательными нотками в голосе, что я должен, просто обязан вступить в партию (естественно, коммунистическую, других партий в то время не было: в стране процветала однопартийная система), что Литературный институт – это прежде всего идеологическое высшее учебное заведение, и весьма странно, что в нем получают образование молодые люди, не очень идеологически

подкованные. Мне не хотелось, чтобы меня подковывали, и я еле сдерживался, чтобы не пошутить, но вовремя останавливался, шутка могла мне дорого обойтись. Конечно, за то, что студент идеологического ВУЗа не вступает в партию, его не могли исключить, но все же он казался всем белой вороной в среде студентов, где почти все поголовно были членами коммунистической партии и считали, что им даже повезло, что они в таком престижном институте, как Литературный (в котором некогда учились, а ныне преподают знаменитые писатели, поэты, драматурги), без особых проволочек, что ожидали их в своих республиках, где карьеристы стояли в многомесячных, а то и многолетних очередях, чтобы получить заветную книжицу и дальше бежать по карьерной дорожке, могут здесь поступить и внедриться. Я же отговаривался перед ректором (с вполне серьезным видом строя из себя слабоумного, отказывающегося от своего счастья)тем, что считаю себя еще не вполне созревшим и готовым для такой высокой чести. И дважды бывал отпущен на дальнейшее дозревание. Видимо, все-таки процент непартийных тоже был необходим, чтобы на Западе не говорили, что в советской стране нет демократии. Но не вступал я в партию не из идейных соображений, которых, честно признаться, насчет коммунистической партии у меня вовсе и не было, хотя я хорошо замечал все огрехи, ошибки, негативные стороны однопартийной системы; не вступал просто из лени, не хотелось зубрить какие-то даты, заучивать, когда и где Ленин произнес такую-то речь, а что и с каким выражением на лице сказал Брежнев по поводу советского искусства? Нет, это шутка, конечно, но вопросы, что могла задать комиссия по приему в партию, наверное, мало чем отличались от этих. Но опять же – то, что я не вступал в партию, было не из принципиально идейных соображений, все-таки я не был ни фашистом, ни носителем другой идеологии, идущей вразрез с коммунистической, и, думаю, если б в то время на меня сильнее нажали, я бы поступил, как все; просто я был равнодушен к политике, как, впрочем, и сейчас, как всегда, мне попросту было неохота, как бы по-мальчишески это ни звучало…

Фарфоровые слоники на диванной полке, мама, обнимающая меня за плечи, вечерняя чашка чая с вишневым вареньем, цокот копыт ослика зеленщика, возвращающегося с рынка, распродав свой товар, негромкие голоса редких прохожих на осенней улице, просачивающиеся сквозь закрытые окна, – мы ждем папу с работы. В такие минуты мне всегда становилось беспричинно грустно, мне казалось, что в жизни взрослых происходит что-то очень важное, и я в этом важном не участвую; хотя мама гладит меня по голове, рассказывает что-то, во что я не очень вникаю, потому что голос её – тихий, ровный, вечерний, усталый от дневных забот, медленно усыпляет меня; и к тому времени, когда папа возвращается, я уже сплю, положив голову на мамины колени и не допив свою чашку чаю…

Разговоры о писателях, пишущих на русском языке здесь, в Баку, в Азербайджане имеют столь давнюю историю, что, вернувшись к её началу, легко можно заблудиться. Стало уже доброй (скорее, напротив – недоброй) традицией для подавляющего большинства работников пера, пишущих на своем родном языке, ругать, хаять и, как минимум, критиковать писателей, пишущих на русском; особенно эта традиция хорошо воспринимается молодым поколением работников пера, каждое новое поколение начинает новую волну претензий к русскоязычным, будто они, русскоязычные писатели, что-то отняли у подавляющего большинства. Старшее поколение, знающее больше и повидавшее многих хороших, настоящих писателей, по сложившимся историческим и политическим обстоятельствам писавших на русском

языке, помалкивает, сохраняя нейтралитет и некоторую объективность. Я немало наблюдал за теми, кто яростно выступает против иноязычных, забыв, что в любой демократической стране любой писатель имеет право писать на любом языке; единственное, на что он не имеет права – писать плохо, слабо, неинтересно. Так вот, по моим наблюдениям, те, кто критикуют иноязычных писателей в своей стране, обычно люди, творчески не состоявшиеся, которым надо восполнить чем-то свою творческую несостоятельность, вот они и восполняют её критиканством. Любая страна должна гордиться своим писателем, если этот писатель талантлив, если он настоящий и пишет не хуже, а бывает, и лучше, чем многие европейские, американские писатели. Но нашим доморощенным духовным недомеркам, заменившим свои фамилии на устрашающие клички, напоминающие индейцев племени апачей, не терпится покритиковать, поругать, поучать: как и на каком языке… «Он не наш, он – не наш!» – истерически вопят они, непонятно, что желая доказать. Что ж, я не уверен, что хочу быть «нашим» среди них.

Многие критики и читатели укоряют меня за то, что мои произведения слишком мрачны, заканчиваются смертью героя или еще какими-нибудь несчастьями. Не спорю, что верно, то верно, но жизнь ведь тоже заканчивается смертью, и ничего хорошего или веселого в этом финале нет. Что я могу посоветовать: читайте писателей-юмористов, есть прекрасные писатели и поэты, работающие в этом жанре. Они не могут писать мрачные вещи, но они же в жизни, обычно, люди, невеселые по характеру. Вообще-то все приходит в равновесие: если ты мрачен по натуре, то, как правило, то, что ты создаешь, бывает светлым и жизнеутверждающим, и наоборот. Я не буду приводить примеры из жизни великих комиков, умевших рассмешить весь мир, или писателей, хорошо видевших темную сторону жизни, их десятки и сотни. Но я считаю себя человеком, воспринимающим критику, и много раз пытался высветлить то, что было слишком уж угнетающе безнадежным. Но тут взошло солнце, и начался рассвет нового дня, полного надежд и радостных ожиданий… Наверное, такая концовка подойдет?.. Так возьмите её и…

Если хочешь создать что-то стоящее, никогда не следует думать о читателе, стараться ему понравиться, идти на поводу у его вкусов и интересов. Коммерческая литература и кино как раз построены на обратном: они делают то, что нравится зрителям и читателям, и потому из зала кинотеатра зрители выходят с хорошим чувством – наконец-то справедливость восторжествовала, зло отмщено, а герой, хоть и претерпел много и весь в крови, но остался жив, на радость потребителям кино и литературы. Что ж, этому тоже есть место, потому что миллионы людей любят это; я в данном случае не оправдываю некоммерческое искусство, рассчитанное на малую аудиторию, некассовые фильмы и не успешные у публики книги; всему есть место, и критерий только один: чтобы было талантливо и интересно. Но мне импонирует и всегда нравилось то, что в первую очередь заставляет задуматься и тревожит чувства человека. Сколько тонкостей в этой профессии, требующей обостренной интуиции и трепетного сердца!

Как-то в Москве на показе моды я познакомился с топ-моделью; туда затащили меня, человека, надо сказать, абсолютно равнодушного к моде, мои московские друзья – не столько с целью полюбоваться на модные платья и намотать себе на ус, сколько поболеть за свою соседку по лестничной площадке, топ-модель, выступавшую на подиуме с демонстрацией ультрамодной одежды. После показа мы пили в баре кофе, и я стал расспрашивать девушку о её профессии, как она пришла в эту

профессию, и вообще – можно ли назвать это полноценной профессией, что творится в мире топ-моделей, обязательно ли быть на подиуме такой красивой, как она, много ли она зарабатывает, и можно ли этому быстро научиться: ходить по подиуму, демонстрируя модные бикини? Одним словом, я засыпал её вопросами, мне было на самом деле интересно, ведь в каждом деле есть много такого, что не может знать человек несведущий. И что же она ответила?

– О! Вы знаете, в нашей профессии очень много тонкостей, не доступных постороннему глазу.

– Да? – спросил я. – И какие же?

– О! Очень много, – повторила она.

– Ясно, ясно… – сказал я. – Не каждому дано так искусно переставлять ноги. Когда вы ходили там, по сцене…

– По подиуму, – поправила она меня с несколько возмущенными нотками в голосе.

– Да, по подиуму… – поправился я, – мне казалось, вот-вот вы запутаетесь в своих собственных ногах и упадете.

– Вот видите, – не очень понятно сказала она.

– Да, – согласился я, чтобы не спорить, видимо, она хотела сказать, что не всякому, точнее, не всякой, дано иметь такие длинные ноги. – Вижу…

Мне часто говорят: твой стиль ни с кем не спутаешь, ты ни на кого не похож, сразу можно угадать, что это ты; мне же хотелось, чтобы я всегда был разный, чтобы каждая новая вещь не была похожа на предыдущую и на последующую, чтобы как раз нельзя было бы угадать, что эти разные произведения, совершенно отличающиеся друг от друга, написаны одним и тем же автором. Но добиться этого очень трудно, если выработан свой стиль, когда много лет подряд ты пишешь так, что дотошный и привередливый читатель сразу узнает твою руку. Стиль – это ведь лицо автора, и поменять свой стиль все равно, что сделать пластическую операцию.

Существует прописная истина, что писатель живет в своих героях, сколько образов, сколько жизней он создал, столько их он сам и проживает, мне же хочется, кроме этого, проживать еще в разных, не похожих один на другой стилях.

– Зачем тебе это? – спросил однажды меня один известный поэт, он же критик-литературовед.

– Сам не знаю, – ответил я, чтобы не углубляться в тему и чтобы он отстал, уже жалея, что проговорился о заветном своем желании.

Он знал меня неплохо и знал, что во многом в жизни я руководствуюсь и опираюсь не на трезвое соображение, а на интуицию, и потому поверил моему короткому, нелепому ответу. Сам не знаю, видел во сне, интуиция подсказывает - эти ответы на меня похожи, и их можно принять за чистую монету.

Но что бы я ни начинал, думая: вот на этот раз я уж точно отойду от своего стиля, от своего лица, буду непохож сам на себя, никто не узнает под маской, не сможет догадаться – я снова сползал в привычное русло своего стиля, и опять каждый из моих читателей – именно моих – легко мог догадаться, кто автор, даже не видя на обложке книги моего имени.

Наши литературные критики сейчас больше говорят, чем пишут: такой-то критик про такого-то писателя сказал то-то (но не написал, просто сказал в кругу таких же литераторов, как и он сам, и хорошо еще, если его выслушали), и я их понимаю – что можно заработать в наши дни критическими статьями, если даже прозу, даже

романы мало кто читает? Кто будет читать критику на такую-то книгу, если саму книгу почти никто не читал? Вот они и говорят. Все-таки не так обидно, если за разговор не платят, и совсем другое дело, когда не платят за статью.

Писать прозу, роман или рассказ – даже при несомненном таланте автора – это мучения, поиски, находки и потери, нервотрепка, потрясения, уколы счастья от точного нахождения черт характера художественного образа и многое, многое другое; но все эти мучения и радости – внутри материала, ограничены рамками своего собственного дела, своей индивидуальной работы, в которую пока никто не сует нос. Совсем другое дело сценарии. У сценария, пока он пишется, много хозяев, помимо сценариста; тут следует считаться с мнением режиссера – не только после написания, но и в процессе работы, режиссер должен контролировать создание сценария и контролирует, потому что в итоге он – хозяин фильма, он – первое лицо в создании экранного произведения. А стыковка двух личностей – дело нелегкое, взаимопонимание приходит не сразу, каждый старается доказать и оправдать свое видение фильма, и чем ярче и талантливее две эти личности, тем сложнее и конфликтнее ситуация с совместной работой и путь к созданию тандема. Много ли мы знаем тандемов в кинематографе? Пожалуй, по пальцам пересчитать можно, и это за сто с лишним лет существования кино. Режиссер объявляет, что хочет снимать такого-то актера в главной роли, и сценаристу приходится писать роль именно под этого актера. А если он не нравится сценаристу? А если он его вообще не знает? Приходится узнать и полюбить. Потом еще одна проблема: бюджет фильма, за сколько его разрешено снимать, уложится ли фильм в эту сумму, и что надо сделать, чтобы уложиться, не выйти за рамки, что в сценарии нужно сократить, как наступить себе на горло, чтобы директор фильма не выговаривал автору, как мальчишке, что, мол, один только трехминутный эпизод сожрет половину бюджета фильма, и что же, по-вашему, нам делать дальше, уважаемый драматург, закрывать фильм?.. Это вам не по подиуму шастать.

Множество проблем возникает при написании сценария, в отличие от книги, но это не означает, что написание книги абсолютно беспроблемно; просто проблемы прозы заключаются в ней самой, в отличие от сценария, если понятно, о чем я говорю…

Большое значение в произведении, книге (впрочем, как и в фильме) имеет название. Желательно, чтобы оно было лапидарным, из одного слова, тогда это звучит, как выстрел; нельзя размазывать название книги на несколько слов, оно теряет динамику, но… может приобрести настроение, что тоже неплохо, тогда, пожалуйста, – размазывайте, все очень индивидуально, и важен только итог, по нему надо судить; и еще одно из главных условий: нельзя содержание привязывать к удачно придуманному названию, каким бы сильным и эффектным оно ни казалось, это может привести к тому, что название создаст клетку для всего текста, и автор будет вынужден все привязывать к названию, подстраивать под него, оно будет доминировать и связывать автору руки, лишит его свободы, когда текст литературного произведения течет вольно, как река, не спотыкаясь о заранее придуманные, искусственные пороги. А ведь часто бывает, что, имея только идею, еще не начав писать, у автора возникает интересное, эффектное название книги, и его очень хочется использовать. Гораздо лучше (и – в хорошем смысле – практичнее), когда название произведения вытекает из уже созданного, естественно получившегося текста. Автор сделал свое дело, закончил произведение; в нем есть все: интересная, интригующая начальная фраза, заставляющая читателя идти дальше по страницам книги, есть живые образы,

наделенные чертами многих знакомых людей и самого автора, есть финал, естественно вытекающий из всего содержания, есть сны и необъяснимые словами фантазии, причудливые скачки ума и сердца, есть много глав, и абзацев, и фраз, создавая которые автор трепетал от счастья созидания, и, наконец, есть главное: рукой писателя от начала до конца водило вдохновение, не дающее ему спать по ночам, не дающее жить нормально при свете дня; но теперь все, конец, все завершено, теперь можно подумать о названии… Оно таится где-то здесь, в тексте…

На нашей улице жил ненормальный мальчик; точнее, с виду он был похож на семилетнего тщедушного мальчика с маленькой, как кулак взрослого человека, головкой, похожей на луковицу, и обликом макроцефала. Когда я узнал, что ему за тридцать лет, я был поражен: ведь я всегда думал, что он младше меня, а мне было одиннадцать. Мы, мальчишки, играли на улице в разные игры, а он, не умея говорить, мычанием выражал свою радость, видимо, оттого, что его не прогоняют, он бегал взапуски, нелепо, как курица, махая руками, улыбался улыбкой идиота и пускал слюни, как младенец. Его звали Мишоппа, и я не знал, то ли это его настоящее имя, то ли его настоящее имя перекроили, приведя в соответствие с его жуткой внешностью. Мальчики постарше меня, которые давно привыкли к присутствию Мишоппы возле них на улице, любили похлопывать по его стриженой крохотной голове; он не обижался, принимая это как знаки внимания: вот, мол, и ты здесь… со своей головой. Как-то мне соседский мальчик рассказал, что его мать – колдунья, и за то, что она наводила за деньги порчу на людей, Бог наказал её, и она родила Мишоппу вместо нормального мальчика; а мать Мишоппы будто бы может проклясть того, кто обидит её сына, и со временем голова обидчика тоже начнет усыхать и в результате станет не больше, чем у Мишоппы. Этот рассказ меня напугал, и я всегда старался держаться подальше от Мишоппы. Но вот однажды, когда мы в очередной раз играли в футбол, мяч откатился далеко, и никто из нас не хотел бежать за ним, тут Мишоппа галопом, как кенгуру, вприпрыжку побежал, неловкими руками взял мяч, прижал его к груди и что есть силы побежал обратно; добежав до меня, он, заглядывая мне в глаза заискивающим взглядом, оскалился, пустив слюни, протянул мне мяч… Я осторожно, боясь прикоснуться к нему, взял из его рук протянутый мяч и только хотел бежать обратно к ребятам, когда он тихо заскулил, опустив голову. Я обернулся. Мишоппа стоял с виноватым видом, маленькие, непонятного цвета глазки его слезились, во рту виднелись мелкие редкие зубы, он, нагнув голову, ждал, что я похлопаю его по голове… Я отшагнул от него в самому себе непонятном страхе: ведь я уже давно не верил в эту нелепую легенду, непонятно кем придуманную, что человека, обидевшего его, может постигнуть та же участь. И все-таки я бежал, боясь прикоснуться к этому несчастному, убогому существу, которое с таким беспомощным и жалким видом предлагало мне свою дружбу. В дальнейшем в жизни я много раз отталкивал руки, предлагавшие мне дружбу. Зачем? Было какое-то внутреннее неприятие той личности, или мне не нравилась внешность, или не нравился взгляд, или манера разговора, напористая, перед которой я пасовал, по натуре не любивший никогда, если со мной говорили с нажимом, вынуждая согласиться. Я просто отмалчивался в таких случаях. Мишоппа же, человек одинокий, насколько только можно быть одиноким в его положении, видимо, очень хотел подружиться со мной (может, моя шевелюра и непохожесть на других мальчиков были тому причиной) и почти каждое утро, зная, что в это время я прохожу мимо их дома, направляясь в школу, выходил, чтобы встретить и проводить меня глазами, и каждый раз жалкая, обиженная улыбка блуждала

по его крохотному, съежившемуся, страшному личику, когда он неуверенно подставлял голову, чтобы я её погладил. Однажды вместе с ним вышла из дома и его мать, которая, как утверждали, очень любила своего неполноценного сына, и крикнула мне:

– Погладь его, видишь, он просит, погладь, руки не отвалятся.

Кажется, я скорчил брезгливую рожу, когда он вплотную подошел ко мне, почти упираясь своей грушевидной головкой мне в грудь, но, пересилив себя, погладил, и потом я долго еще помнил ощущение от прикосновения к его стриженой уродливой голове; мне хотелось поскорее уйти и помыть руки. Но в душе я жалел этого уродца, которому ничего не светило в жизни, и дни его проходили в стремлении предложить свою дружбу мальчикам, издевательски относившимся к нему. Я при встрече стал махать ему рукой, широко улыбаясь, чтобы он понял, что мне приятно его видеть. В первый раз, когда он увидел, что я машу ему рукой, он от радости замычал и кинулся обратно домой, видимо, чтобы поделиться со своей матерью этой неожиданной радостью…

Я трудно схожусь с людьми, я необщителен, неконтактен, как принято сейчас говорить, и друзья у меня старые, почти все – кто остался с юношеских лет. Но дружба, она сродни любви, она тоже, как и любовь, может кончиться, могут разойтись дороги, не совпасть интересы, можно столкнуться с предательством (не люблю громких слов, но предательство нередко бывает среди друзей), бывает, что и сам отворачиваешься от друзей, не видя в этом ничего ужасного (с годами в человеке успокаиваются эмоции, и многое, что мы считали очень важным и серьезным в молодости, начинает казаться нам не столь значительным), забыв, что нельзя слишком много требовать от дружбы, даже долголетней; одним словом, дружба начинается и кончается, и в этом она сродни любви: как и любовь, она может продолжаться всю жизнь, если это бескорыстная дружба (но даже это не единственное условие, чтобы дружба жила до конца вашей жизни), как и любовь, она порой потухает, вянет…

Я часто размышляю о природе творчества, откуда это берется, ведь так много об этом интереснейшем, непостижимом явлении сказано, написано. И все равно это остается загадкой. Что движет человеком, который хочет самовыразиться в творчестве, которому хочется, чтобы его узнали, о нем заговорили, чтобы он стал в один ряд с известными личностями? Почему ему не живется спокойно, какой бес вселяется в него и принуждает к словотворчеству? Из разных побуждений человек становится писателем. У кого-то кипят мысли, и невозможно их держать в себе долгое время, нельзя не выплеснуть на бумагу – созрев и приняв форму слов, они, эти мысли, чувства, ощущения, становятся хорошей, умной, доброй и интересной книгой; кого-то беспокоят придуманные острые сюжеты, и он знает, что на них непременно найдется читатель, их станут покупать, надо только их реализовать, сесть и написать; кто-то пишет с целью заработать деньги, цель меркантильная, сугубо практичная, земная, но, начав достигать её, автор может, независимо от того, какова цель, достичь и отличных результатов; кому-то не дает покоя слава знакомого писателя, и он начинает писать, чтобы доказать ему, себе и всем знакомым и близким, что у него получится не хуже – и что вы думаете? – на самом деле получается не хуже. Только по результату можно судить, на верной ли дороге будущий писатель, человек, взявший, образно говоря, перо в руки с целью стать профессиональным литератором. Если получилось, и его произведение вызывает интерес, заставляет помнить себя долгое время, заставляет перечитывать себя – значит, он на верном пути, независимо от

цели, которую в начале дороги ставил перед собой автор и которая окружающим может показаться недостаточно благородной по отношению к Литературе. Чудо литературы в том и состоит, что она открыта для всех, в отличие от других видов искусства, где обязательны специфические познания и навыки: умение смешивать краски и наносить мазки на полотно, знание нот и обладание музыкальным слухом, способность видеть на экране написанное словами, работа с актерами и многое другое, что заключает в себе обширная и многогранная работа режиссера, и так далее. Другое дело литература. Мы с детства окружены словами, и желающий посвятить себя писательскому ремеслу должен просто правильно выбирать из массы слов нужные, в точности соответствующие его мыслям и чувствам. Это напоминает работу снайпера, пули-слова должны бить точно в цель, в голову, в сердце читателя и там и оставаться надолго. Конечно, может, это изложение довольно схематично, но суть именно такая.

Думаю, самое трудное, самое тяжелое в работе писателя – успеть за ускользающей мыслью; успеть ухватить мысль, ощущение, пока оно не истаяло; как бы вы ни научились быстро писать, мысль быстрее во много раз, и первые слова, самые точные, пока вы их зафиксируете, стирает наплыв последующих мыслей, чувств, будто издеваясь над вами, стирает их, как рисунки на влажном песке побережья стирают волны, набегая друг за другом, и вы не успеваете нарисовать полностью то, что задумали. Бывало, и довольно часто, что среди ночи приснившееся, нечто неуловимо чудесное заставляло меня катапультироваться с постели к письменному столу и торопливо, пока не остыло ощущение, записать его хоть бы и на клочке случайно попавшейся бумаги. Но какими уродливыми, беспомощными, деревянными казались слова поутру, когда, перечитав, я смутно припоминал мимолетное, как порыв майского ветерка, великолепное чувство; как бился я над ними, этими чужими словами (что это за язык?!), чтобы хотя бы отдаленно они напомнили мне ночные ощущения, заставившие биться сердце, заставившие проснуться среди ночи, броситься к столу. Именно это сводит с ума, бесит, заставляет дрожать от негодования – процесс мучительный и сладостный, горький и счастливый, когда находки, отдельные точные детали, черты и черточки иголками вонзаются в сердце, и ты живешь полной, наполненной и переполненной творчеством жизнью, ощущаешь всю полноту жизни. Но близится финал, вот оно и закончено, твое произведение, твое детище, над которым ты бился недели и месяцы, а бывает – и годы, и что же? Испытываешь усталость, сладостное удовлетворение, необходимость в отдыхе (как после женщины, добавлю я, хотя мог бы и не добавлять, потому что уже прочитывается в подтексте), но жалеешь, что путь к финалу окончен, что сладостный процесс схождения с ума, когда получал истинное наслаждение от точных слов, точной формулировки, остался позади, и надо поскорее его вернуть, надо начать процесс сначала, надо начать новую вещь, надо снова сходить с ума, не то жизнь покажется – и не только покажется, но будет, будет! – пустой и никчемной; а в такие дни чувствуешь свою ненужность в этой жизни.

Мы с детства привыкли сковывать свое воображение, свою фантазию; в детстве она, наша фантазия, как раз била ключом, била фонтаном, но постоянные ограничения, постоянные «нельзя, нельзя, не делай то, не делай это, не бегай – упадешь, не прыгай – устанешь, не оставляй обед, доедай» и прочее, прочее, постепенно душили наше воображение, будучи этакой детской цензурой, довлеющей над нами. Освободите свою фантазию, дайте ей волю, поверьте ей, отпустите с поводка ваше вооб-

ражение, и вы увидите совсем иной мир, окрашенный вашей фантазией во все яркие, жизнеутверждающие цвета, что есть на свете, и он – ваш мир – заиграет, заискрится, вспыхнет, как алмаз на солнце, как июльская волна под полуденными лучами. Трудно переоценить значение фантазии и воображения в творчестве писателя, и хоть толчок всегда нам дают реальная жизнь, реальные жизненные ситуации, но воображение делает произведение сугубо нашим, принадлежащим только нам и никому больше, потому что ни у кого на свете нет и не может быть именно такого воображения, такой фантазии, таких неповторимых снов, из которых мы черпаем, как из полного колодца черпают живительную влагу, того, что делает наше творчество индивидуальным, самобытным, не похожим ни на что другое. Тут, кажется, напрашивается нечто вроде двух непохожих отпечатков пальцев, ну, ладно…

В советское время (цензура, помните?) одним из самых популярных вопросов, что задавали редакторы приходившим к ним в редакцию авторам, был следующий:

– Что вы хотели сказать вашим романом (повестью, рассказом, поэмой)?

Этот вопрос всегда настигал меня, когда я не был к нему готов, обрушивался на меня, заставал врасплох, хотя я не однажды пытался на него честно ответить. Что вы хотели сказать? Разве может быть вопрос глупее? Неужели недостаточно прочитать произведение, чтобы узнать? Нет, надо обязательно спросить. А черт его знает, что я хотел сказать! Я, правда, чувствовал себя очень глупо, когда мне задавали этот вопрос, и мялся, как школьник, не выучивший урока, мнется и мычит что-то нечленораздельное возле классной доски; хотелось по возможности ответить, потому что я понимал, что от моего ответа, может быть, зависит судьба моего произведения, над которым я работал долгое время и которое мне было дорого. Очень уж хотелось опубликовать. Ведь я тогда был молод и стремился поскорее стать известным писателем (тем более, что в те годы писательство было очень престижной и уважаемой профессией), стать знаменитостью, которую узнавали бы на улицах, оборачивались бы вслед и провожали восхищенным шепотом, чтобы мной гордились родные, и еще многое, многое другое, что в молодости, как и все честолюбивые творческие люди, я поставил себе целью, еще не совсем ясно представляя, какие головокружительные глубины и высоты готовит профессия для литератора, какой полной, безоглядной отдачи требует от человека, как призывает она отречься от всего суетного, сиюминутного, нечистого, если ты по-настоящему хочешь быть предан ей, этой профессии, если она на самом деле твое призвание, чему ты будешь служить всем своим существом, сколько сил и таланта хватит.

Я не случайно назвал эту вещь романом, как бы это ни шло вразрез с нашим традиционным пониманием этого жанра. Мы привыкли, что жанр романа предусматривает наличие в нем всех необходимых классических атрибутов: завязки, кульминации, развязки, финала, главной сюжетной линии, сюжетных ответвлений, главных героев и второстепенных персонажей, точной и подробной характеристики образов и прочее, прочее… Однако мне хотелось разрушить стереотипы, хотелось сделать бессюжетный роман, но насытить его ткань своими чувствами, мыслями, маленькими историями, в итоге – своей жизнью, своим жизненным опытом. Я много раз от людей пожилых, далеких от литературы и по-настоящему даже не знающих, что из себя представляет жанр романа, мало того – проживших обычные, не очень интересные с точки зрения литературного сюжета жизни, слышал по-разному высказанную идентичную мысль:

«Если бы кто взялся, из моей жизни вышел бы хороший роман».

Я согласен с этим высказыванием, потому что, по большому счету, нет неинтересных человеческих жизней, так же, как и нет на свете и не может быть неинтересных людей. Бывает – и часто – неинтересный сюжет жизни, неинтересная литературная наполненность её, но личность человека всегда перевешивает сюжет, если, конечно, автор не задался целью написать детективную историю. Поэтому мне хотелось назвать вот это, то, что вы сейчас читаете, именно романом. Романом без завязки и развязки, без кульминации и основной сюжетной линии, без прочего, прочего… Даже несмотря на то, что мне на протяжении многих лет моей творческой деятельности жанр рассказа был гораздо ближе. Рассказ или новелла мне напоминают выстрел в упор; мне всегда хотелось своими рассказами выстрелить в упор в сердце читателя, чтобы мой рассказ надолго оставался в его сердце, и тревожил, и беспокоил, и заставлял задуматься, и чтобы он, читатель, долго после прочитанного жил бы в состоянии послерассказия, медленно возвращаясь к жизни, как после анестезии. Но если сравнить рассказ с выстрелом в упор, то роман можно сравнить (если уж пошла речь о выстрелах и стрелках; кстати, модная тема в кино, и с некоторых пор – в литературе: тема стрелков, убийц, киллеров. К сожалению. Потому что я уже много раз слышал, как юноши, подростки признаются, что хотели бы свою жизнь посвятить этой «профессии») с пулеметной очередью, наверное; тоже убивает в итоге, но убивает не так эффектно, как выстрел в упор. Как и надо убивать сегодняшнего читателя за все его преступления: за то, что он отдалился от литературы, потерял интерес и продолжает терять, за то, что душа его постепенно обрастает жирком и не желает быть потрясаемой. Роман – большой, обширный жанр с огромными возможностями, которые предоставляет ему большее, чем в рассказе, пространство. Роман потрясает (примеры такого романа – вся мировая классика), но мы не всегда можем проглотить роман – объемистую, большую книгу – в один присест; приходится отдохнуть от него, дать отдых глазам, душе, голове. Однако мы оставляем его в приятном предвкушении того, что завтра нас ждет продолжение удовольствия. Это великолепно, но убийство читателя уже размазано, уже не так действенно, как от проглоченного за полчаса рассказа. Не хотелось делать нечто остросюжетное, в жизни не так уж много таких судеб, и они нетипичны, и не хотелось соответствовать жанру как таковому, напротив – хотелось разрушить классические каноны и не соответствовать никаким законам, кроме закона о том, что любая интересная вещь, насыщенная мыслями и чувствами, переданная точными и простыми словами, – это литература, независимо, как её назовут умники-критики: романом, рассказом или еще чем-нибудь. Моё субъективное мнение. Можете не соглашаться.

Чтобы полностью соответствовать содержанию, наверное, можно было бы определить жанр, как роман-размышление, но это звучит несколько претенциозно, и потому оставим жанр в покое, не это главное. Жанр, мной придуманный, – роман-кардиограмма, – звучит не менее претенциозно, но он написан сердцем, больше сердцем, чем головой, и в нем есть, если внимательно прочитать, повторяющиеся вершины и спады, как обычно бывает в беспокойной кардиограмме, понятно, да? Вот, не хотел говорить, да ладно, уже сказал…

Когда незнакомые люди спрашивают, кто я, чем занимаюсь, чем зарабатываю на жизнь, я с виноватым видом, тихо, почти шепотом, как у постели тяжелобольного, отвечаю:

– Я – писатель.

Бывает, смотрят на меня с жалостью, ничего не говорят, но во взглядах про-

читывается: «И кому ты нужен?.. Занялся бы делом». Не понимают, что это уже ярмо, клеймо, рабство, от которого не убежишь, и… огромное счастье, что нельзя купить ни за какие миллионы…

Оглядываясь на пройденный многолетний творческий путь, могу с уверенностью сказать, что никогда не писал такого, что было бы мне не по душе, и даже заказные произведения, что случалось нечасто, я старался писать так, чтобы получать от них истинное удовольствие, повернув их лицом к настоящей литературе, делая из заказов полноценные литературные произведения: рассказы, повести, что бы там ни возражал заказчик, не приемля моих фантазий, дополнявших скучный, однообразный, монотонный фактический материал.

Удивительно, как все в жизни возвращается, вращается по кругу, повторяется в ином качестве: в детстве, играя в свои одинокие игры, куда я никого не впускал, я разговаривал сам с собой, создавая свой мир фантазии, недоступный и непонятный взрослым; сейчас иной раз я ловлю себя на том, что рассуждаю вслух, что-то кому-то доказываю, оберегая свой давно созданный мир от разрушительного и грубого вторжения чужих.

(Окончание следует)

Сберечь в себе Гольфстрим

По долгу службы и – по требованию души – я читаю много, и дело это мне нравится. Всегда нравилось. «По долгу службы» – все подряд, по требованию души – более избирательно. Иногда эти понятия совпадают – долг службы и требование души – и тогда это праздник, интеллектуальное пиршество. Но даже и в этом – замечательном – случае желание публично поделиться впечатлениями о прочитанном, эмоциями, вызванными им, возникает крайне редко. Сейчас – возникло. Возникло, когда я прочла роман Натига Расулзаде «Гольфстрим». Думаю, что у многих (будучи реалисткой, понимаю, что – не у всех) вещь эта вызовет тот же поток эмоций, какие вызвала у меня – вы получите удовольствие.

Свой роман «Гольфстрим» Натиг Расулзаде обозначил как «роман-кардиограмму» – обозначение столь же точное, сколь и необычное для литературного жанра. Хотя, наверное, любое литературное произведение, написанное искренне, душой и сердцем, можно назвать «кардиограммой», только до сих пор никто, насколько мне известно, не догадался этого сделать. Да и каждый ли имеет на это право? Натиг Расулзаде – имеет.

Я рада, что мне довелось прочесть эту вещь… Мне грустно оттого, что она – уже прочитана, удовольствие, схожее с удовольствием гурмана, смакующего понравившееся лакомство и старающегося растянуть процесс – позади… Впрочем, есть возможность повторить пиршество, перечитав эту вещь – быть может, не всю подряд, сразу, а – выхватывая те куски, на которые в ту или иную минуту упадет взгляд, как выхватываешь с куска торта вишенку или цукат – да простит мне автор эти кулинарные сравнения.

Это «выхватывание кусков» не доставит никакого дискомфорта, поскольку роман, по признанию самого автора, «бессюжетен». Автор признается, что ему хотелось «разрушить стереотипы, сделать бессюжетный роман, но насытить его ткань своими чувствами, мыслями… в итоге – своей жизнью, своим жизненным опытом». Лично мне это вполне импонирует: как и автор «Гольфстрима» (он об этом говорит в своем романе), я тоже сторонница того мнения, что сюжет – не главное, главное – герои, их характеры, их

мысли и чувства. Мне кажется, что читателю важнее знать, о чем герой (а в данном случае герой романа и его автор – одно лицо) думает, что чувствует, переживает…

Впрочем, мнения на этот счет могут быть самыми разными. Как и по поводу самого романа.

Почему роман-кардиограмма Натига Расулзаде не обязательно понравится всем? Во-первых, нравиться всем и невозможно, и не нужно. А, во-вторых, хотя вещь эта, по всем литературным канонам – несомненно, весьма стоящая, но как для того, чтобы прочесть и понять кардиограмму, нужна хоть какая-то медицинская подготовка или хотя бы общее понимание основных медицинских аспектов, так и здесь – чтобы прочесть и, главное, понять, проникнуться, оценить данную вещь, нужно, как минимум, иметь большой читательский стаж (причем, в сфере настоящей, художественной литературы) – так мне, во всяком случае, кажется.

Не хочу делать критического или литературоведческого разбора вещи, полагая, что это всегда только вредит. К чему препарировать литературное произведение, раскладывать его по полочкам? Мне всегда казалось, что это – то же, что препарировать живой организм, от этого от него начинает разить мертвечиной.

Не стану и пересказывать сюжет – как уже говорилось выше, его в романе нет и, поверьте, он от этого ничего не теряет. Напротив, автор, не скованный рамками сюжета, пускается в свободное плавание по своему прошлому, наполняя повествование размышлениями, впечатлениями – о жизни, о смерти, о писательском труде, о человеческих взаимоотношениях и о многом другом. Автор не просит и, тем более, не требует с ним соглашаться, он просто делится своими мыслями – лично мне это по душе, тем более, что – редкий случай! – как оказалось, практически все, о чем он пишет в «Гольфстриме», мне близко – от узнаваемости деталей быта, которые окружали автора в детстве, потому что мое детство проходило в том же городе, в том же временном периоде и практически в той же социальной среде, что и его, до восприятия тех или иных явлений и оценок, которые он им дает.

Вообще, чтение этой вещи было для меня как бы даже не чтением, а – общением с автором, беседой, диалогом: прочитав какой-то кусок или даже предложение, я то и дело восклицала про себя: «Да, да, – это так и есть!», или «Я тоже над этим думала и пришла к тому же!», или «Как же это верно!» А иногда – опять же мысленно – заявляла: «Ну, не знаю, может, это и верно, но… не знаю…»

Все дело, наверное, в том, что автор размышляет над вещами, которые интересны и близки многим, и мне в том числе, и особенно привлекательно – для меня – что в большинстве случаев автор, озвучивая свое мнение по тому или иному поводу, одновременно озвучивает и мое, то есть, по большинству жизненно-важных вещей (а он размышляет именно о них) у меня с ним практически нет разногласий. Это очень меня удивило, потому что, читая другие его вещи, воспринимая их, как произведения талантливого литератора, я, тем не менее, совсем не всегда ощущала, что написанное так близко мне по духу, и что взгляды наши так во многом совпадают – они, конечно, и не обязаны совпадать, но как здорово, когда совпадают! А вот читая «Гольльфстрим», я будто открывала в авторе совершенно нового для себя, близкого мне по духу человека – для меня это было, как некое откровение…

А самое привлекательное для меня в романе (и – в жизни!) – это тот самый Гольфстрим, теплое течение, которое так важно сохранить в себе или хотя бы в памяти. «Детство – это теплое течение в буднях твоей жизни, – пишет автор, – с возрастом оно иссякает или смешивается с холодным, это течение, и важно сохранить его первозданно теплым». Сохранить детство в памяти и в себе – это и впрямь важно. Необходимо! Для каждого из нас, и особенно – для людей творческих. Потому что творить с холодом в душе – невозможно.

О чем же все-таки роман? Это – воспоминания о прошлом и размышления о пройденном пути, очень откровенно пересказанные глубоко чувствующим и широко мыслящим человеком.

Цель автора, по его собственным словам: «Вспомнить, разбудить, воскресить чувства, запахи, ощущения, которые уже однажды, много лет назад пережил». Потому что «есть в жизни любого человека, в особенности – творческого человека – нечто, что заставляет его обернуться назад, поразмышлять, вспомнить свое прошлое», которое «живет с нами, стучится в нашу память – откройте! – не желая оставаться забытым, тревожит наше сердце и порой помогает нам выжить в этом мире…» И еще это – добавлю от себя – помогает выверить настоящее прошлым, вспомнить то, что мы знали и понимали когда-то, а теперь – забыли, вспомнить детство, когда мы были лучше и чище, во всяком случае, взгляд на окружающее был у нас свежее, желания и стремления – естественнее, а пути их достижения – прямее и честнее.

Конечно, и в детстве присущий ребенку светлый взгляд на мир очень часто омрачается достаточно жесткой действительностью. В воспоминаниях автора немало таких примеров. Один из них – когда соседский мальчик, то ли из зависти, то ли из вредности – дети ведь тоже бывают злы и завистливы – разбил на куски вылепленную им, автором, тогда тоже мальчиком, голову великана из сказки Пушкина, над которой он много трудился и очень гордился тем, что она ему удалась…

Пережить обиду помогает «…домик из одеяла, который создают дети, играя, куда прячется ребенок, в своем воображении строя свой мир». По мнению автора, для пишущего человека литература – это тот же домик из одеяла.

«Выросший ребенок, продолжая игру, находит в сотворенном его фантазией мире возможность спрятаться, убежать от мира реального, жестокого, несправедливого, чьи правила он не может принять. Литература дает такую возможность», – пишет Натиг Расулзаде. Но как это сделать? Ведь писать нужно о настоящем, реальном.

Об этом говорит и автор «Гольфстрима»: «Но, уходя от реального мира, писатель все-таки на него опирается, его берет отправной точкой в своих произведениях, забирает его неприемлемые для себя законы и атрибуты в свое творчество. Ему хочется создать свой – добрый, уютный мир, свое гнездышко из одеяла-домика, свой мир справедливости, но в то же время он понимает, что должен отображать реальный мир со всем его каждодневным уродством и волшебством, превосходящими любую писательскую фантазию».

И все же, отображая такой – реальный – мир, писатель волен в нем распоряжаться, разворачивая события тем или иным образом, или же давая этим событиям свою оценку, позволяя просочиться в изложение теплому течению из детства...

Домик из одеяла, теплое течение Гольфстрим, все это – детство… А еще это – лакированные детские ботиночки, хранящиеся в старом ридикюле твоей мамы, которая любила тебя так, как никто и никогда тебя больше не любил. И когда-нибудь ты достанешь эти ботиночки, чтобы вновь ощутить тепло материнских рук, бережно уложивших их много лет назад в этот ридикюль, чтобы ты когда-то вспомнил о них, достал и, прикоснувшись к ним, понял: детство, теплое, с любящей мамой и всем хорошим, что в нем было, и сегодня – с тобой…

Елизавета КАСУМОВА

СИЯВУШ МАМЕДЗАДЕ – 80

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЮБИЛЯРЕ

Помнится, примерно пять лет назад Сиявуш-муаллим сказал нам, что в сложные моменты он, остановив суетных мыслей ход, закрыв глаза, в поисках решений всматривается вглубь себя.

Не знаю, таким ли аутогенным способом он, как писатель, находит свои образы, рифмы, строфы, точные, адекватные слова в переводах, но я неоднократно был свидетелем того, что в шахматах, в своем хобби, Сиявуш-муаллим решения ищет тоже внутри себя. Прикрыв веки, он на какое-то время замирает, потом решительно делает ход.

– Жертва, – говорит он, – да, ферзь, бери!

Конечно, Сиявуш-муаллим не гроссмейстер, хотя шахматных партий сыграл не меньше, чем иной профессионал. И жертвует в шахматах он не всегда корректно. Но бывает, что ему удается делать такие ходы, так обострить, закрутить интригу в партии, что ей вполне можно найти место в шахматных сборниках. Сиявуш-муаллим жертвует и побеждает. Жертвует он и в литературе. Знаю, как, пользуясь его добротой, наседают на него иные авторы с просьбами о переводах. И Сиявуш-муаллим, жертвуя своим временем, творчеством, соглашается, но непременно, как бы в шутку, замечает:

– Ладно, переведу, но постараюсь, чтобы было не сильнее оригинала.

Я всегда улавливаю в этой его поговорке горькую усмешку, и говорится она больше для себя, чем для автора.

Перевести лучше оригинала он может. В этой придуманной им поговорке скрыта самооценка. Он действительно может перевести так, чтобы произведение зазвучало с новой силой. Но дабы сохранить индивидуальность автора, ему приходится сдерживаться. Такой уж у него потенциал, такой уж талант, который надо брать в узду.

Мое знакомство с Сиявушем Мамедзаде состоялось в общежитии Литературного института. Конечно, об этом помню я, а не Сиявуш-муаллим. Тогда я, как абитуриент,

только что приехал в Москву, обустроился в общежитии.

Не знаю, какая неведомая сила сталкивает на чужбине нас, азербайджанцев, бывает, мы просто бьемся друг об друга лбами. В какую бы даль не забросила нас судьба, как правило, и там встречаем земляка. Я, например, встретил однажды в республике Коми на заснеженной, завьюженной, совершенно безлюдной улице Ухты двух земляков. «Гагаш, арпа гятирмищик, лазымдыр?» Сейчас с высоты своих лет я сказал бы, что да, нужно, только немного, чуть-чуть и овса нужно, и жмыха, и пшена. Все, что хотите, гагаши, раз нас свели небеса.

Вот так и мы, по наитию небес, трое азербайджанцев: я, к сожалению, ныне уже покойный Валех Рзаев и Рашад Бекдамирли, приехавшие поступать в Литературный институт и сошедшиеся в коридоре общежития, благословление на поступление в институт получили от Сиявуша Мамедзаде. Он тоже был в коридоре. Шел к нам своей неспешной походкой мэтра.

К тому времени им уже было многое написано и переведено. Уже сложились поражающие глубиной мысли его строки: «Скала не знала, что она скала, и ветер имени своего не ведал...» Скала не знала, а Сиявуш Мамедзаде знал, что он – Сиявуш Мамедзаде, иначе не было бы его перефразированной поговорки: «Взялся за гуж – помни, что ты Сиявуш!» Словом, он нас благословил, и благословить у него было чем, не где-то в загашнике, а в руках держал початую.

«Вы поступите», – сказал он нам. Я не обратил внимания, закрывал ли он при этом глаза, уходил ли в себя, но мы действительно поступили.

Теперь, когда я знаю Сиявуш-муаллима не одно десятилетие, я не могу найти слов, полностью отражающих мое восхищением им, его работоспособностью.

Его вклад в литературу трудно переоценить, разве что мерить библиотеками, если принять такое мерило для писательского труда. Действительно, из оригинальных произведений прозы и поэзии Сиявуша Мамедзаде, его переводов можно составить целую публичную библиотеку. Ему уже при жизни и памятник сотворен нерукотворный, как Пушкину. Памятник из слов. Писатель Мамед Орудж написал и опубликовал роман о Сиявуше Мамедзаде, который ждет своего перевода и на русский язык.

Работая над романом, Мамед Орудж в шутку спросил у меня, что сделать с Сиявуш-муаллимом в конце романа?

– Как, что? Конечно, наградить! Ты же не детектив пишешь, чтобы интриговать читателей. Награди его медалью, орденом, премией солидной.

Сейчас, написав про награду, подумал: а так ли важна награда для писателя, когда его награда от Бога – писательский талант. И нет, наверное, пока на земле равноценной дару Божьему награды. Возможно, в какой-то степени наградой может служить интерес к писателю.

В канун восьмидесятилетнего юбилея Сиявуша Мамедзаде вместе с пожеланиями крепкого здоровья, долгих лет жизни, мы желаем ему и неиссякаемого интереса к его личности. И, закрывая глаза, я всматриваюсь в себя в надежде увидеть следующий юбилей Сиявуш-муаллима. Юбилей, который бы он самолично отрежиссировал и справлял бы его, ежемесячно репетируя.

По поручению редакции и велению собственной души,

Н.Агасиев

А ТЕПЕРЬ – СЛОВО ЮБИЛЯРУ

Редеют ряды ветеранов

По красным торжественным датам
Далекой победной весны
Звонил я бывалым солдатам,
Защитникам бывшей страны.
Ряды ветеранов редеют,
На них похоронки не шли,
Салюты в их честь отгремели,
Окопы травой заросли.
И в день достопамятный мая
Ищу уходящую рать,
Все горше, больней понимая,
Что некого впредь поздравлять.
Мои адреса опустели,
В квартиры вошла тишина.
Скончались солдаты в постели,
И канула в нетях страна.
Грядет говорливое племя
Под гром новомодных идей.
Уходит великое время
Меня защитивших людей.

****

В полусвете гламурного зала
Нас непраздная дата свела.
Мы речам невеселым внимали,
Отодвинув мирские дела.
Вспоминали большого поэта,
На экране портрет оживал,
А у нас, у двоих, шла беседа,
Параллельно рояль бушевал, –
Оттенял мемуарные речи,
Пианисты старались вовсю,
И неярко горевшие свечи
Дополняли картину сию.
Мы с тобой говорили о разном,
Не желая роялю мешать
И словам выступавших прекрасным,
Уважая их скорбную стать.
И звучали сужденья о смерти,
О призванье людей на земле,
О недолгой дороге на тверди
В человеческой общей семье.
Дух минора довлел в этом хоре,
Этот дух отражался во взоре
Твоих тёмных задумчивых глаз,
И не мог в искромётном задоре
Заглушить его взрывчатый джаз.
Что-то все же осталось вне джаза,
Что-то в наш разговор не вошло –
Может, не прозвучавшая фраза,
Может, гревшее сердце тепло.

Унесенная ветром

Дж.А-вой

Ты помнишь год пятьдесят третий,
Филфак советского АГУ,
Девичьей аурой согретый,
Тогдашний солнечный Баку.
Как грызли мы «гранит науки»,
И языки, и ОМЛ...
Роились стайками подруги,
Мужской пол по боку сидел –
Немногочисленный анклав
В эмансипированной державе,
И не мечтал о равноправье,
Матриархата власть признав.
Трудилась староста Долгова
И посещаемость блюла,
Демократично и толково
Дела журнальные вела.
Я забегал в многотиражку,
С печатью связи заведя,
Из Гейне текст переведя,
У «немки» заслужил поблажку -
В зачетку «хор» наверняка,
Хотя она была строга,
Порой девчат вгоняя в слезы
За искаженный имперфект.
А я лирические грезы
Записывал себе в конспект,
Я заболел, как говорится,
Одной из вас, филологинь,
Ее крылатые ресницы
Сошли с классических картин.
При ней терялся я, робея.
Другой был у нее кумир...
«Оставь фантазии, Ромео!» –
Меня одергивал Шекспир...
«Страданья Вертера младого»
Тогда пришлись бы в самый раз,
Такой напрашивался сказ:
Она любила, но – другого...
Ты помнишь, как давным-давно
Мы после лекций шли в кино,
До кассы «Красного Востока».
Перед сеансами – концерт,
Причина нашего восторга,
Как дополнительный десерт,
С Евгенией, я помню, Дэвис,
«Может быть, он некрасивый, может быть...»
Девчонки в зеркало гляделись,
В фойе оркестр не забыть...
Жерар Филипп и Жан Марэ,

А также «Ленин в октябре»,
Крючков, Утесов и Орлова...
Экран манил нас вновь и снова
Блестящей звездной чередой
Незабываемой порой...
Питомцы старого филфака,
Мы разлетелись – кто куда,
Стремясь республике во благо
Служить на поприще труда.
Потом нагрянула беда,
Вдруг расколовшая державу
И всех на «наших» и «чужих»,
И рухнул мир в единый миг,
И смуте не нашлось управы...
А впрочем, все теперь известно,
Надеюсь, ныне повсеместно.
...Мы пережили смертный хаос,
Уже другие времена.
Исчезла бывшая страна.
И я, живой, казнюсь и каюсь,
Что длится бой добра и зла,
Что кровь течет, как и текла,
И вновь лишает меня сна
Далекая моя весна.

ПАМЯТИ СОБРАТА ПО ПЕРУ

Когда в Баку донеслась весть о кончине Данилы Кононенко, я был потрясен. Данила был молод, в расцвете лет, и его уход из жизни никак не вязался с образом моего далекого друга, с которым меня сдружила личная беда в 80-е годы. Мой сын служил в армии по призыву на РЛП в Симферополе. Его кто-то обидел по понятиям «дедовщины», которую в Советском Союзе тщательно замалчивали. Я так и не узнал, кто обидчик, и вылетев из Баку, так и не выяснил, почему мой сын покинул часть (ночью, в лютый мороз), куда он делся?. Не знали его местонахождения и непосредственные начальники. Ни в части, ни в Симферополе. Не буду описывать свои переживания и трудные разговоры с командирами. В конце концов, сын нашелся: его задержала милиция в 20-25 километрах от части и сдала в дурдом, откуда сын сообщил о своих злоключениях не нам, родителям, а бабушке в смоленскую деревню…

В те тяжелые дни я нашел пристанище и утешение в Симферопольском отделении Союза писателей Украины, где познакомился с Данилой Андреевичем Кононенко. У меня были давние дружеские и творческие связи с украинскими писателями. Данила заслуженно и по праву занял достойное место в их ряду, подарил мне сборник своих стихов, дал мне свой телефон, номер которого зашифровал с присущим ему юмором: «Отлично барабанят семеро удальцов» (отлично – 5, барабанят две палочки – 11, 7 и удальцов – «удовлетворительно» – 3).

Во время событий, связанных с отделением полуострова Крым и вхождением его в состав России, по интернету, через Галину Литовченко, я узнал, что Данила хотел бы иметь мою книгу, сообщил и свой новый адрес, телефон. Я отправил ему новый свой сборник «Вехи века». Позвонил, поговорили по душам, поблагодарил за его давнее участие в судьбе моего сына и моих отцовских невзгодах.

Не скрою: при всей эйфории крымского русского населения (я помню, что Крым «подарил» Украине Хрущев, и эта земля питает большой пиетет к русской истории и воинской славе), при всей патриотической радости крымчаков, точила сердце тревога за Данилу, писавшего стихи на родной мове, а теперь ему надлежало переходить в лоно иных реалий, ориентиров и координат, против которых я ничего, в принципе, не имею, как переводчик, живущий на стыке двух языковых культур и озвучивавший стихи иноязычных авторов на языке Пушкина и Толстого на протяжении всей жизни.

И вот в эти дни пришла весть из Симферополя: Данила ушел из жизни. Больно и горько.

Я вспоминаю участь Василя Стуса, которого советский режим ложно обвинил в «национализме» и обрек на медленную гибель в колымской ссылке…

Словом, это долгий разговор.

Склоняю голову перед памятью Данилы. Я потерял побратима, а украинская поэзия – талантливого мастера.

Мечтаю и верю, что тучи над прекрасной Украиной рассеются и братские «народы, распри позабыв, в великую семью соединятся».

Возвращение солнечного клоуна

Он вернулся домой эмигрантом,
Помешавший кумиру страны,
И блиставший не меньшим талантом,
Виноватый без всякой вины.
И смешил он народ иностранный,
Начиная аншлаги с нуля,
Но томила тоской постоянной
Дорогая родная земля.
В шапито закордонном на горе
Оказался бесчестный ловкач.
И остался в полнейшем разоре
Обворованный клоун, хоть плачь.
Но Господь, бедолаге радея,
Ниспослал во спасенье любовь,
И прекрасная добрая фея
Возродила художника вновь.
Стала верной опорой, подругой,
Появился надежный причал,
Но российской невольной разлукой
Россиянина грызла печаль.
Он вернулся. На пыльных ступенях,
У дверей на бульваре Цветном,
Вспоминал о былых треволненьях,
Когда к горлу подкатывал ком, –
Оттого, что лихие невзгоды
Помешали России служить,
И пришлось драгоценные годы,
Колеся по чужбине, прожить.

ИЛЬГАР ФАХМИ

БАКИНСКАЯ МОЗАИКА*

Перевод Натаван ХАЛИЛОВОЙ

ШЕСТОЙ ФРАГМЕНТ

Это было время, когда оборотная сторона бакинских паласов и ковров имела черный налет, потому что спать в летнюю жару в душных комнатах невозможно, и бакинцы, расстелив ковры и паласы на покрытых киром крышах, устраивались там на ночлег, чтобы поспать под прохладным ветерком, дующим с моря. В конце лета, когда мылись ковры и паласы, становилось ясно, что на оборотной стороне они имеют такой же тонкий слой нефти, как и морская гладь, и, как ни старались, отмыть липучую, как жвачка, массу, не удавалось.

Это было время, когда на улицах начали появляться в большом количестве автомобили «ГАЗ-21», и вдруг стало ясно, что прирожденные шоферы водились только в Баку, и как только мужчины садились в эти пухленькие машины, вернее, похожие на пухленьких женщин машины, в их подсознании пробуждались какие-то скрытые интимные чувства, и большая часть их, забросив все свои дела, полностью отдавалась служению этой железной красавице. Таким образом, в рационе запахов, куда, в основном, входил запах кира, добавился еще один, причем, уже навсегда – запах бензина. В ту пору, если какая-то женщина хотела выйти замуж за бакинца, и при этом у нее была аллергия на запахи кира и бензина, она вначале должна была прочесть молитву-фатиха. У женщины, выходящей замуж за бакинца, квартира всегда пахла киром, а муж ее источал запах бензина.

И, наконец, это были времена, когда, если в самый разгар лета собрать туфли бакинцев и бросить их в кипящую воду, то можно было бы получить насыщенный тутовый компот. Потому что тутовые деревья, ставшие составной частью бакинских улиц, щедро сыпали на землю свои сладкие плоды, и очистить от них обувь не смог бы даже легендарный меч Кёроглу. Летом невозможно было дотронуться до ножей, которые бакинцы всегда носили с собой, потому что от постоянной чистки подметок лезвия были заляпаны этим сладким месивом. А мыть ножи было бесполезно, бессовестный тут настолько въедался в лезвие этих красивых ножей, сделанных в тюрьмах и зонах, что они окончательно теряли свое предназначение – убийство человека – и превращались в банальные компотные ножи. Летом в верхних кварталах города случаи поножовщины резко сокращались. Пока вытащишь заляпанный липкий нож, не то, что убивать кого-то, и муравья задавить становится лень, и человек, который нарывался на нож, успевал спокойно ретироваться с места событий, или же пока ты возишься с ножом, тот запросто давал тебе кулаком в нос, и ты, распластавшись на огненном асфальте, натыкался на собственный нож, который протыкал тебе бок.

[1] Окончание. Начало см. № 9, 2015г.

В один из таких дней, вечером, когда мой отец, вернувшись с Нефтяных Камней, отдыхал на крыше нашего дома, а мой дядя попивал пиво со своими друзьями в пивнушке возле Гырхпилекен, уже вышедший на пенсию дед и мающийся от безделья, пристал в Мирсафтару, предлагая ему сыграть пару партий в нарды. Справедливости ради надо сказать, что Мирсафтар, спокойный и тихий по натуре, никак не мог влиться в шумную компанию сверстников, живущих в нашем квартале, и по вечерам от скуки не знал, куда себя девать, поэтому всегда с удовольствием принимал предложение деда, в отличие от других наших соседей. В тот вечер Мирсафтар пристроился за грубо сколоченным столом под тутовым деревом на маленькой коричневой скамеечке, которую он сам смастерил. Несмотря на то, что партия была начата, сконцентрироваться на игре он никак не мог. На тутовнике ягод уже не было, но земля под деревом все еще представляла собой грязное сладкое месиво, липнущее к подошвам. Мирсафтар, подняв с земли железную палочку, пытался очистить подметки своих туфель, дело это было нелегкое, и он подумал, что если скрести дальше, то подошвы просто не выдержат, и тогда уж придется окончательно распроститься с туфлями. Было ясно, что и эти туфли уже готовы пойти на компот. Наконец, поняв бесполезность своих действий, он откинул железку и сосредоточился на зарах и деде.

– Шесть-четыре, ты, наверное, не помнишь те времена… – дед отпил крепкий чай из стаканов армуды. – Когда ты переехал в Баку?

– Четыре года назад, в пятьдесят восьмом. Три-один, – отвечает наш квартирант, бросая зары.

– Да, ничего, лет через пятьдесят-шестьдесят вы тоже станете бакинцами, – казалось, дед утешает Мирсафтара. – Мы и сами лет шестьдесят-семьдесят назад переехали в Баку. Я был ребенком, когда мы всей семьей переехали в Баку из Зиря. Я помню, что перед Думой была пустошь, а чемберекендцы выращивали там пшеницу. Пять-два.

– Где-где выращивали пшеницу? – Кажется, Мирсафтар не очень понял, о чем говорит дед.

– Перед Думой.

– А это что, и где оно находилось?

Дед чешет голову, пытаясь вспомнить название учреждения, которое сейчас находится в этом здании.

– Ну там, в здании, где на башне еще часы есть. Гырхпилекен спускается прямо к этому зданию. Оно прилепилось к Ичери шехер.

– Четыре-четыре, – Мирсафтар улыбается, – понял, здание Исполнительной власти Баку.

– Вот-вот, – дед кивает, – в те годы там заседала Дума. Когда мы переехали в Баку, оттуда, вплоть до кварталов Даглы, была пустошь. Чуть дунет Хазри, поднималась такая пылища, что ничего не видно, хоть глаз выколи. Все забивалось песком: глаза, рот, уши. Мать покойная всегда ворчала, что отец согласился на переезд в пыльный каменный город, оставив в деревне прекрасный дом с садом. Три-два.

– Почему же каменный? – удивляется Мирсафтар. – Два-один. Вы же говорили, что пшеницу тут выращивали? Если можно выращивать пшеницу, значит, земля хорошая была.

– Ну, что ты, – дед отмахивается, – думаешь, можно было подойти к тому пшеничному полю? Площадь перед Думой купил и огородил Хаджи Зейналабдин для по-

стройки школы. А территории вокруг постепенно скупили Хаджи Хаджиага, Ага Муртуз и другие новоиспеченные миллионеры и строили себе там особняки. Отец купил землю немного выше. В те времена тут не было ничего, кроме песка и камней. Эта территория была площадью, на которой дрались крепостные и чемберекендцы. Как только где-то кого-то убивали, крепостные ребята, взяв свои ножи, поднимались сюда, а чемберекендцы сверху кидали на них камни. Когда мы уже жили тут, несколько раз случались такие битвы. Чемберекендцы поджигали три-четыре сломанных старых колеса и скидывали вниз на ребят из крепости: в кого попало – попало, какие-то скатывались вниз прямо к Думе. Одно колесо, загоревшись, скатилось в магазинчик суконщика, тот вспыхнул, как спичка, другое ударилось о стенку какого-то дома, в общем, начиналась заваруха. Когда такое случалось, даже городовые прятались по углам, знали, что если бакинцы начинают драку, то уж будут резать всех, кто попадет под руку.

В конце концов, аксакалы квартала собрались и пошли к Гочу[1] Наджафгулу, мол, помоги, опять они в нашем квартале устраивают драки, женщины и дети напуганы. Гочу Наджафгулу, пригласив к себе аксакалов крепости и Чемберекенда, объяснил им, что времена изменились, теперь на территории, отведенной для разборок, живут люди, найдите себе другую площадку для драк. После этого в квартале стало тихо. Потом уж эти земли были раскуплены и застроены домами, а там, где раньше скатывали горящие колеса, построили лестницу и назвали ее Гырхпилекен. А то раньше, чтобы попасть в Крепость, надо было идти в обход и проходить через Чемберекендское кладбище. А сейчас удобно, люди спокойно спускаются вниз прямо до Думы. Пять-пять.

– А почему вы переехали из деревни? Шесть-четыре, – спрашивает Мирсафтар под стук зар.

Глаза деда увлажняются, он тяжело вздыхает, поднимает голову и смотри на крону тутовника, укрывшего своей тенью весь двор, смотрит на подвешенные, давно не используемые и уже порядком заржавевшие рыболовные снасти, затем сгоняет назойливую муху со стола и, наконец, отвечает:

– Знаешь, сынок, ты теперь уж не чужой нам человек, член семьи, чужим я бы не сказал. Земля в нашей деревне была не очень хорошей, поэтому люди кормились тем, что добывали в море. Деревня окружена с трех сторон морем, и люди там рыбачили, наполняли свои арбы рыбой, привозили и продавали в Баку. И у моего отца была длинная лодка, на которой он рыбачил вместе с братьями. А это море – сколько давало нам, столько и отбирало. Но что поделать? Таков уж его нрав. А кто кому задарма пропитание дает? Взамен обязательно что-то надо отдавать, платить. А море брало плату нашими рыбаками. Кормило оно нас лет пять-десять, а потом раз, что-то ему не понравилось, и оно забирало кого-то из рыбаков. В те времена среди наших родственников, кажется, не было никого, кто бы умер своей смертью. И не только в нашей семье, вся деревня платила этот страшный выкуп. У нас на кладбище почти все могилы были женскими, мужские могилы можно было по пальцам пересчитать. Четыре-пять. Надо же, ты и пятерку в «доме» занял!

– Почему это? Вы что, мужчин не хоронили на кладбище? – сосредоточившись на игре, Мирсафтар не уловил смысла дедушкиных слов.

– О чем ты говоришь?! Что у наших мужиков было, чтобы могилы были? Я же говорю, что они погибали в море. У рыбака могила в море. Море и есть наше клад-

[1] *Гочу (азерб.)* – глава бандгруппы.

бище. Жизнь забирало и даже тела не возвращало. У нас на рыбака, дожившего до сорока пяти-пятидесяти лет, смотрели как на Пророка. Все говорили, надо же, как чисты его помыслы и дела, что даже море не осмелилось взять его. Готовы были чуть ли не жертвы ему приносить.

– Шесть-один, – Мирсафтар бросил зары, – стало быть, земли в округе были совсем не пригодны для земледелия.

– Так были пригодны, – дед качает головой, – но условия были тяжелые. Земли там соленые, с поливкой были проблемы, да и ветер покоя не давал. У нас ведь ни реки нет, ни кехризов, ни каналов, не то, что у вас в районах, так что только море и выручало. Ловили рыбу, икру продавали, из нее же и масло выдавливали.

– Да если с таким трудом добывать хлеб насущный, то уж лучше вообще не добывать. – Мирсафтар тяжело качает головой и забирает протянутые дедом зары. – Всегда те земли были солеными?

– Нет, двести-триста лет назад море было далеко от нашей деревни, старики говорили, что если с утра выйти из дому, то к обеду только можно было дойти до него. А Пираллахи в то время был не островом, а частью суши. В те годы деревня была окружена прекрасными землями. А со стороны Гилавара рос густой лес. Бакинские ханы и беки приезжали в наши леса на охоту, стреляли джейранов.

– Правда, что ли? – сомневается Мирсафтар. – Где Абшерон и где лес?!

– А что? Говорю я, был там лес, – кажется, деда оскорбило недоверие квартиранта. – Ты мне в сыновья годишься, что я тебе – врать, что ли, буду? Какие между нами могут быть шутки?.. Пять-четыре.

На несколько минут наступает тишина и слышен только стук зар и шашек. Наконец дед опять заговорил:

– В те времена люди занимались сельским хозяйством и жили хорошо. Земли были отличные и можно было выращивать все, что угодно. Но потом случилось нечто, что изменило нашу жизнь.

– И что случилось?.. – Мирсафтар на долю секунды замер, затем бросил зары. – Два-один.

– На краю нашей деревни было святилище. Говорю «было», но оно и сейчас стоит там, просто деревня разрослась, и теперь оно стоит между домами. Так вот, святилище это очень древнее. Никто не знает, когда оно было построено. Одни говорят, что оно осталось со времен Александра Македонского, другие связывают его с именем шаха Аббаса. За святилищем ухаживала семья сеидов, и когда члены этой семьи умирали, то их хоронили вокруг этого святилища. Постепенно деревенские жители, уверовав в это святилище, тоже стали хоронить там своих покойников, и место это превратилось в кладбище. Вот теперь слушай, потому как я приближаюсь к сути своего рассказа. Два-три столетия назад, когда народ жил в достатке, несколько негодяев, движимых жаждой наживы, решили прибрать к рукам земли, прилегающие к кладбищу, и стали настраивать народ на то, что, мол, усопшие теснят их жизненное пространство, и все такое в этом роде, мол, что это такое, посреди деревни, на такой плодородной земле эти сеиды устроили кладбище, если так пойдет и дальше, то с увеличением покойников все посевные площади придется отвести под кладбище. Стали агитировать людей, чтобы возле святилища перестали хоронить людей и перенесли кладбище за пределы деревни на каменистые земли, которые не годятся под посевы. Сеиды, ухаживающие за святилищем, вначале не соглашались, стали объяснять людям, что земля эта священна и идеально подходит для упокоения усопших.

Но все это было бесполезно, народ их уже не слушал, и все кончилось переносом кладбища на каменистые земли за пределами деревни. Вокруг святилища соорудили невысокий забор, чтобы больше там никого не хоронили. На остальной территории начали выращивать пшеницу.

Сеидам такое поведение сельчан не понравилось, на одной из деревенских сходок старейшина сеидской семьи выступил и сказал: «Аллах покарает вас за то, что вы пожалели кусок своей земли для усопших и поставили мирские заботы выше духовных, ваши могилы не увидят покойников, и кладбище, заложенное вами, расти не будет. Вот тогда вы достигнете своей мечты, потому что усопшие более не будут теснить ваше жизненное пространство».

Семейство сеидов обиделось на сельчан, ушло из деревни, обосновавшись у скалы Гылынчгая, где построило себе маленький домик. А через несколько лет сеиды вообще покинули эти края.

Сельчане же через некоторое время позабыли и семейство этих сеидов, и слова его старейшины. Но потом стало ясно, что дело на этом не закончилось. Лет через пятнадцать-двадцать после закладки нового кладбища уровень моря стал подниматься, и с каждым годом вода приближалась все ближе и ближе к деревне, леса, окружавшие деревню, стали гнить, часть посевных площадей ушла под воду, часть превратилось в солончаки, часть заросла камышом.

Из бывших посевных площадей только одна пятая осталась пригодной для сельского хозяйства. Былая сытая жизнь ушла в прошлое, и, чтобы прокормиться, сельчане были вынуждены обратить свои взоры к подступившему почти к краю деревни морю. Соорудив утлые лодчонки, мужчины круглый год, в любую погоду выходили в море, чтобы как-то прокормить свои семьи. Уходило десять человек, возвращалось пять, уходило пять человек, возвращалось три, так что деревенские мужики даже и мечтать не могли о том, чтобы умереть дома, среди своих домочадцев в своей постели. Море превратилось в помощника Азраила и постепенно одного за другим косило наших мужчин, и даже тел их не возвращало. Вот так и сбылось проклятие сеида, могилы не могли дождаться своих покойников, новое кладбище не росло, и покойники больше не отнимали у нас жизненного пространства. Чтобы помянуть своих покойников, сельчане теперь вынуждены были, стоя на прибрежном песке, читать под палящими лучами солнца и ледяными порывами Хазри заупокойную молитву…

– Так не шли бы в море. Жизнь дороже желудка, – слова сделавшего перерыв в игре Мирсафтара звучат так наивно, что дед не может удержаться от смеха.

– А что им есть тогда? Или лучше умереть с голоду?

– Нет, пусть не умирают, – Мирсафтар не сдается, – пусть переезжают оттуда в другое место.

– Правильно говоришь, – соглашается дед, – но не все же могут покинуть родные очаги и переехать в другое место. На три дня куда-то в гости поедешь и уже себе места не находишь, тянет домой. А что касается того, чтобы совсем переехать, то, например, мой отец так и сделал. Как-то попал он в сильный шторм, лодка перевернулась, друзья его погибли. А отцу удалось удержаться на воде. Там-то, прямо в воде, он обратился с молитвой к Богу, пообещав, что если он выйдет на берег, то будет последним человеком, если окунет в море хотя бы палец. Всю ночь отец плыл и выбрался на берег уже на восходе. После этого отец продал все свои лодки и вместе с братьями приехал в Баку, купили вот эту землю, построили дом, заложили двор,

сад и обосновались тут. Отец устроился работать на мельницу хромого Агабалы, а его братья пошли работать на нефтяные промыслы.

– А сейчас деревенские также занимаются рыболовством? – наконец, откладывая зары в сторону, спрашивает Мирсафтар.

– Нет, что ты. Лет пятьдесят-шестьдесят назад, когда в Пираллахи нашли нефтяное месторождение, надобность выходить в море отпала. Большинство мужчин пошло работать на промысел, и деревенское кладбище стало пополняться могилами. Сейчас только пять-шесть человек занимается рыболовством. Да и то в охотку.

Наступает тишина, горячая, как Гилавар, только сейчас и дед, и Мирсафтар понимают, что партия ими еще не закончена. Кажется, они позабыли даже то, кто из них последним бросал зары, поэтому дед закрывает нарды и, повернувшись к дому, зовет бабушку:

– Сонаханым!

– Чего тебе, – бабушка высовывается из маленького окошка.

– Я в тот день из деревни арбузы привозил, нарежь один из них, принеси, жарко.

– Я тесто замешиваю, и детей дома нет, сам иди, выбери, какой хочешь, и нарежь себе, – отвечает бабушка.

– Эти несносные дети только к Рамазану[1] и приходят домой, – ворчит дед, качая головой, затем поднимается, идет домой и через некоторое время возвращается с арбузом средней величины, подносом и большим ножом. Он отодвигает нарды на конец стола, ставит на стол поднос, водружает на него арбуз и оборачивается к квартиранту, качающемуся на высоком стуле, как камыш на ветру.

– В вашем районе арбузы выращивают?

– Нет, у нас, в основном, растут картошка и лук. А арбузы к нам привозят из Сабирабада.

– Эх, – поджав губы, дед отмахивается, – в Сабирабаде арбузы поливают слишком много. Весь вкус вымывается. В нашей деревне арбузы и дыни выращивают на берегу моря и потому уже не поливают. Они впитывают морскую воду и становятся сладкими, как мед.

Мирсафтар, не сводящий глаз с арбуза, вдруг что-то вспоминает и спрашивает деда:

– А правду говорят, что зырянские арбузы лопаются от одного щелчка?

Нож в руках деда замирает, отчего жизнь арбуза продлевается еще на пару минут.

– Да что там щелчок, дорогой? Попробуй возле хорошо поспевшего арбуза только повысить голос, – клянусь отцом, сразу лопнет. У наших арбузов, как у людей, душа есть, все понимают без слов. И шума не любят, тяжелый у них характер, критику не воспринимают, – дед указывает рукой на лежащий перед ним арбуз, – этот арбуз – скороспелка, они толстокожие. Вот Бог даст, в конце лета, когда поспеет основной урожай, сам убедишься. Я привезу с десяток арбузов. Вот так же, как сейчас, сядем тут, положим перед собой арбузы, прямо при тебе крикну погромче, и арбуз сразу расколется.

Дед аккуратно разрезает арбуз на четыре части.

– Красота. Красный, – вдруг дед, что-то вспомнив, повернув голову, оглянулся в сторону Гырхпилекена. – Когда мы сюда только переехали, мне было лет десять-

[1] Здесь: к ужину.

двенадцать, точно не помню, мы целыми днями с ребятами из квартала прыгали и гонялись по этим крышам. В те годы сюда приехало много иранцев. Чтобы прокормить свои семьи, они работали на нефтяных промыслах. Местная братва мучила и не давала им покоя. Так вот, многие из них обосновались в верхней части Гырхпилекена, где они основали свой квартал. К морю они спускались по Гырхпилекену, а мы, детвора, набрав камни, прятались на крышах и, завидев их, кидали в них эти камни и получали от этого удовольствие.

– А вас не наказывали за это? – разглядывая арбузные семечки, спрашивает Мирсафтар.

– Скажешь тоже, кто этих иранцев тогда за людей считал. Наши с пистолями…

– С чем?

– …с пистолетами, да, так вот, когда наши хотели проверить свои пистоли, брали на мушку иранцев. Они никому не были нужны, никто ими не интересовался. Ну и мы, глядя на старших, подражали им. Если бы мы такое позволили по отношению к местному населению, то нам бы такую взбучку дали, что на всю жизнь запомнили бы. Так вот, однажды я так бросил камень, что попал прямо в сияющую лысину высокого иранца, от удара его голова треснула, как арбуз, и кровь залила все лицо. Несчастный даже не пикнул, не знаю, оттого, что испугался, или оттого, что ему стало совсем плохо, он просто обхватил голову и упал на землю.

– Умер? – квартирант оторвал глаза от арбуза и уставился в заросшее щетиной лицо деда.

– Откуда я знаю, – пожал плечами дед. – Вначале мы испугались и разбежались, а когда вечером пошли к Гырхпилекену, того несчастного и след простыл. На земле только осталась свернувшаяся черная кровь. Или сам он нашел в себе силы, поднялся и ушел, или товарищи ему помогли. После того случая каждый раз, когда режу арбуз и он трескается, перед глазами появляется голова того иранца.

Мирсафтар попытался утешить деда. Но напрасно.

– Ничего, вы же были ребенком. В детстве мы много чего творим по незнанию и непониманию. Не мучайтесь.

Дед аж вздрогнул. Брови его взвились.

– Что? Мучаться? Ты что несешь? Почему это я должен мучаться? Это всего лишь иранец. Не я, так другой бы разбил ему голову. Все равно у него один конец был: или кто-то из бандитов его бы пристрелил, или утонул бы на нефтяном промысле. Что такое разбитая голова иранца, чтобы я еще из-за этого мучался. Меня другое тревожит. Каждый раз, когда режу арбуз, перед глазами появляется тот иранец с окровавленной головой. А я кровь брезгую. Потом уж и арбуз в горло не идет. Никакого удовольствия от этого лакомства. Перед тем, как приняться за еду, я должен минут на пять-десять занять себя чем-то, чтобы позабыть об этом лысом, а так есть не могу.

Мирсафтар почтительно забирает нож у деда и продолжает нарезать арбуз, аккуратно раскладывая его на блюде.

– Да, аксакал, что такое разбитая голова. В нашем районе, когда пасли овец, то и дело чьи-то дети падали со скалы или кручи, разбиваясь в кровь... Убить человека трудно. Не говоря уж о несчастных иранцах. Главное, что вы его не убили.

Чтобы отвлечься от мрачных воспоминаний, дед разглядывает крупных муравьев, расхаживающих по столу, вдруг он протягивает руку и давит пальцем нескольких насекомых. Кажется, решимость от пальцев перешла к его языку.

– Эх, ты что думаешь, я не убивал? Убивал, всякое было.

Нож в руках Мирсафтара замирает, застряв в арбузе, он с удивлением смотрит в равнодушные глаза деда.

– Кого, иранцев?

– И иранцы были, и армяне, и русские.

– Когда?

– В восемнадцатом году. Я и без того недолюбливал иранцев, а после восемнадцатого года окончательно возненавидел их.

– Почему это? – нож в руках Мирсафтара опять пришел в движение.

– В то время пять-шесть вагонов с армянскими солдатами привезли в Баку, говорили, будто бы отсюда они должны были переправиться на войну с турками. Сукины дети спелись с местными армянами и начали терроризировать мусульман, врывались в жилища, уничтожали все, дома разрушали. Тогда много мусульман от их рук погибло. Вот наши ребята договорились с ребятами с Даглы мехелле[1] объединиться и не пускать армян в верхние кварталы. Мы послали аксакалов к уважаемым гочу, в конце концов, Азизбеков прислал нам пятьдесят ружей, тридцать-сорок коробок патронов. Мы устроили заслон ниже Даглы мехелле, армянские солдаты два-три раза попытались подняться в Даглинский квартал, но мы отбили эти атаки. Ну, что тебе сказать, душа моя, во время тех боев, прогнав армян, мы и сами спустились в нижние кварталы. В ста шагах от женской гимназии Хаджи Зейналабдина, где час назад были армянские позиции, мы услышали, как кто-то зовет на помощь. Мы подошли и увидели иранца, раненного в руку и истекающего кровью. Оказывается, этот негодяй воевал на стороне армян. Клянусь могилой своего деда Кербалаи Фаттаха, я так разозлился, что выпустил в него все патроны, которые были в стволе. С тех пор видеть иранцев не могу.

– А может, он не был иранцем, – сказал Мирсафтар, откладывая в сторону нож. – Ведь говорят, что и в Иране много армян, живя с ними, наверняка они знали и наш язык.

Протянувший было руку за ломтиком арбуза дед останавливается, какое-то время размышляет, хлопая глазами.

– Думаешь, он был из иранских армян?

– Не знаю. Армяне не приняли бы в свои отряды персов.

Дед задумывается, раздавив на столе еще несколько муравьев, тяжело вздыхает.

– И вправду. Надо же. Мне это никогда в голову не приходило. А я с тех пор ругаю иранцев на чем свет стоит за то, что они тогда встали на сторону армян.

Поедая спелый арбуз, Мирсафтар глядит на деда, но не может понять, чувствует ли дед сожаление. Вдруг, будто что-то вспомнив, он резко меняет тему разговора и задает деду, на первый взгляд, странный вопрос:

– Аксакал, ты Ленина видел?

Проглотив кусок арбуза, деда качает головой.

– Ну что ты, я и в Москве-то ни разу не бывал, чтобы видеть козлобородого. А вот грузина видел.

– Кого?

– Ну, Сталина.

– И где ты его видел?

[1] *Даглы мехелле* – один из старых кварталов Баку, находящийся в верхней части города.

– В Зиря.

Простой и естественный ответ деда кажется Мирсафтару явной ложью. Но, зная характер деда, стараясь не разозлить того, осторожно спрашивает:

– Я никогда не слышал, чтобы глава партии посещал абшеронские деревни.

Дед убирает с арбуза упавшие тутовые листья и смеется:

– Так он тогда не был главой партии. Его тогда и Сталиным-то не звали. В те годы он собрал вокруг себя пять-десять бандитов и собирал дань с наших миллионеров. Среди своих его звали Коба, а наши называли его просто грузином. Бедняки его очень любили. Наша деревня находилась далеко от города, почти у самого моря, поэтому такие, как он, бандиты, которые мутили в России воду, приезжали к нам не на поезде, а нанимали в Астрахани лодку, переплывали Хазар и тайно высаживались в районе нашей деревни, чтобы власти не прознали об их присутствии. И когда в городе случалась какая-нибудь заварушка, тоже прибегали в нашу деревню прятаться в приморских домах и садах. Здесь их никто не искал, да и в крайнем случае можно было бы договориться с рыбаками с Пираллахи, и те отвозили их обратно в Астрахань. За полгода до того, как мы переехали в Баку, мы с соседским сыном Абдулали пасли овец в районе Кургана. Вдруг видим, откуда-то из садов вышел большой усатый мужчина в отличной кожаной куртке, он отозвал Абдулали в сторонку и начал что-то говорить, я на три-четыре года был младше и потому даже не пикнул, затем «усатый» отобрал одну из упитанных овец и унес с собой. После того, как мужчина ушел, я спросил у Абдулали, кто это был и чего хотел. Тот пожал плечами, только сказал, что тот велел сказать хозяину овцы, что увел её грузин, как только будет возможность, пришлет за неё деньги. Вечером мы все рассказали хозяину овцы, как нам было велено. Хозяин сильно расстроился, сказал, почему вы ему отдали только одну овцу, я могу принести ему в жертву всех своих животных. Потом мы уж узнали, что этот усатый мужчина был Сталин, и наш сельчанин Мирзабала прятал его в наших деревенских садах. Они были большими друзьями. Но после семнадцатого года они рассорились. Мирзабала присоединился к Мусавату, стал государственным человеком, а Сталин вместе с красными сбежал в Россию. Скажу еще, что, став царем, он не тронул ни Мирзабалу, ни других своих старых друзей. Все они спокойно работали. Уже позднее Мирзабала уехал в Турцию. Наверное, сейчас он совсем уж старый, если жив, конечно… И потом Сталин был не один, в садовых колодцах вокруг нашей деревни пряталось много революционеров… – вдруг на лице деда появилась полная сожаления усмешка, – в те времена в колодцах прятались, а когда пришли к власти, посадили в эти колодцы ахундов, молл, беков, ага. Ты только посмотри, всю жизнь перевернули с ног на голову: те, кто сидел в колодцах, стали хозяевами жизни, а бывших хозяев посадили в колодцы. Что тебе сказать, мне бы даже во сне не приснилось, чтобы такого святого человека, как молла Мурадали, по молитве которого Бог посылал дождь, сбросили в курганский колодец и живьем закидали землей, чтобы такому уважаемому помещику Хаджи Атахану, слово которого было законом для всех, который в Сабунчах избил двух городовых, и которые боялись его, как огня, привяжут на шею камень и скинут в море. Эх, знаешь, сколько достойных мужчин они уничтожили? Не одного, не двоих.

Мирсафтар качает головой.

– Прав ты, аксакал, хорошо, что те страшные времена прошли. Открываются архивы времен культа личности, выявляется, сколько безвинных жертв было расстреляно. Живые возвращаются из ссылок, погибшие реабилитируются. Публикуются

книги репрессированных Гусейна Джавида, Микаила Мушфига и других поэтов и писателей. Может, вы видели. У меня есть, по вечерам, когда есть время, читаю.

– Правильно делаешь, читай, жаль, что я не любитель чтения, не хватает терпения, но когда кто-то читает, слушаю. – Перебирая зары пальцами, дед о чем-то задумывается, – нет, совру, если скажу, что видел Джавида или Мушфига. Может, и видел, только внимания не обратил. Но Джафара я помню, хорошо помню.

– Джафара Джаббарлы?

– Так один Джафар же был. Я именно об этом даглинце и говорю. Он жил недалеко от нас, выше Гырхпилекена, над Советским кварталом, в Даглы мехелле. Каждый день спускался и шел по этой улице на работу. Хороший был парень, уважал и старых, и молодых, всегда здоровался со всеми. И часто в руках у него был тар.

– Да, я читал, что и песни, исполняемые в его пьесах, он писал сам, зачастую сам исполнял их во время спектаклей.

Дед безразлично пожимает плечами.

– Вот этого не знаю, я в театры не ходил, помню только тар. Как-то раз он спускался по лестнице, а мы с моим соседом Гыбле Имамверди вот так же сидели друг против друга и играли в нарды. Даглинец, кажется, спешил, перепрыгивал чуть ли не через пять ступенек. Поздоровался с нами и, когда уже миновал нас, споткнулся о камень, сам не упал, удержался, а тар выпал из рук, стукнулся о каменную ступеньку, и гриф разломался на две части. Увидев это, даглинец побледнел. Мы поняли, что он очень расстроился, бросили игру и подошли как-то успокоить его. Он сказал, что его расстроило не то, что сломался тар, а то, что через 10-15 минут в театре начнется спектакль, на который придет много руководящих работников, и он сам должен будет исполнять свои песни. И где теперь за десять-пятнадцать минут раздобыть тар? Я спросил, а что, в театре нет другого тара? Так найти-то можно, но все уверены, что у меня есть тар, и я сам буду играть. На что я ответил, что права поговорка: «Поспешай, не спеша», но ты не расстраивайся, мы что-нибудь придумаем. Я повернулся к Гыбле и спросил, где тар, на котором его младший сын, отбывающий сейчас срочную службу, иногда играл для нас? Гыбле ответил, что после того, как сын ушел в армию, он отнес все его вещи на чердак, и если инструмент там за это время не повредился, то пусть Джафар его забирает.

Гыбле тут же побежал к себе домой, залез на чердак, нашел тар и спустился с ним вниз. Джафар осмотрел инструмент, перебрал пальцами струны, остался доволен его звучанием, сказал, что тар расстроен, но он его настроит уже в театре. Забрал тар, раз пятьдесят сказал «спасибо», затем, торопясь, спустился вниз. Через пару дней он пришел к нам и сказал, что вот, мол, я принес ваш тар, спасибо, что выручили. Но Гыбле Имамверди отказался взять тар обратно, Джафар хотел хотя бы заплатить за тар, но Гыбле Имамверди даже слушать его не хотел. В конце концов Джафар сказал, что сейчас пишет пьесу об армяно-азербайджанской войне и одного из героев назовет его именем. Не знаю, назвал или нет. Но врать не станет, даглинцы всегда держат свое слово. В каком же году случилось все это… сейчас вспомню… в год, когда тетя улетела, да, да, точно, когда тетя улетела.

– Кто улетел? – Мирсафтару кажется, что дед смеется над ним.

– Тетя, – вдруг дед начинает качать головой. – Ах да, ты же тетю не видел. Откуда же тебе знать о ее полете.

– Чья тетя?

– Мечеть на Бибиэйбате. Там была могила сестры одного из имамов, люди там

сделали святилище, приносили жертвы. Хорошее место было. Перейду с одного рассказа на другой. Был некий Гусейн Рагимов, и был он из старых коммунистов, одним из трех первых лиц в государстве, так вот, мать у него была верующая женщина и все корила его, что зря он пошел служить безбожникам, ведь они мечети разрушают, молл уничтожают, покарает их за это Аллах. За пять-шесть лет до войны был издан указ о разрушении в городе всех крупных мечетей и церквей. В тот год и Гызыл килсе[1], и Бибиэйбатская мечеть были разрушены. Когда Бибиэйбатскую мечеть разрушили, этот Гусейн Рагимов пришел к матери и, желая пошутить с ней, сказал: «Мама, гони магарыч, биби улетела». Мать укоризненно посмотрела на него, покачала головой и сказала: «Не печалься, сынок, мало осталось, придет день, и ты улетишь»... и в самом деле за год или два до войны этого Гусейна Рагимова объявили врагом народа, арестовали и влепили пулю в лоб. Но с тех пор выражение «Биби улетела» так и осталось в устах народа... В те годы много святых мест разрушили. Жаль. – Дед оборачивается в сторону ворот и указывает Мирсафтару на что-то рукой. – Вот, если смотреть отсюда, можно было рассмотреть все купола Гызыл килсе. Знаешь, где она стояла? Прямо над базаром, что находится выше Гоша Гала гапы[2]. На ее месте сейчас, кажется, школа стоит. Если въезжали в город со стороны Баладжар, то их встречали купола этой церкви, если даже кто-то заплутал в городе, то, ориентируясь на эти золотые купола, мог найти дорогу. Большая церковь была, и крепко была построена. Говорили, что при ее строительстве в раствор было добавлено много яиц. Я помню, что ее никак не могли разрушить, четыре года провозились с ней, разбирали по кирпичику. Старики-русские каждый раз, проходя мимо нее, тайком утирали слезу... Говорили, что еще в царское время как-то городовые преследовали Сталина, видя, что скрыться ему негде, он вошел в эту церковь, священники пожалели его, спрятали на чердаке, два дня он провел там. Колокола на этой церкви были очень большие, от звона аж уши закладывало. Наверное, и Сталин извелся там от этого звона, сидя на чердаке, говорят, что он дал себе слово, что, как только появится возможность, разрушит и церковь, и колокола. И, став царем, так и поступил.

– Да, вспомнил, – Мирсафтар подтверждает слова деда. – Еще ребенком в какой-то книжке вычитал, что Сталин во время своей революционной деятельности бывал в Баку и даже был тут арестован.

– Правду пишут. Несколько месяцев просидел в нашей Баиловской тюрьме. Когда он сидел там, доктор Нариманов все время тайно посылал ему передачи. Эх, он тоже был удивительным человеком. Да упокоит Аллах душу Хаджи Зейналабдина. Сколько таких ребят, как доктор Нариманов, он посылал в Россию учиться. Жаль, что моя молодость пришлась на плохое время, начались беспорядки, царя Николая скинули, власть поменялась. А так бы и я поехал учиться и стал бы образованным человеком. Хаджи Зейналабдин помог бы мне, мой старший дядя был с ним дружен. Хаджи Зейналабдин любил моего дядю, знал, что дядя, человек честный, верующий, ни перед кем не пресмыкается, всегда, как мужчина, прямо говорит то, что думает. У дяди Кербелаи[3] в Шубаны были стада овец. Хаджи мясо для семьи, а потом и для работников своей фабрики всегда покупал там. Каждый месяц мы посылали ему двести овец. Одного слова Кербелаи было бы достаточно для того, чтобы и меня послали в Россию учиться. – Кажется, юность опять кинолентой проходит перед глазами деда, он и печалится, и оживляется.

1 Гызыл килсе – Александро-Невский собор построен в 1894 и разрушен в 1936 году.
2 Гоша Гала гапы – двойные ворота бакинской крепости.
3 Кербелаи – духовное звание, получаемое после паломничества в Кербелу.

– Говорят, Тагиев заботился о народе, – сказав это, Мирсафтар смотрит на деда, но тот, кажется, его не слышит, он находится в своем мире, и одному Аллаху известно, где бродят его мысли.

– …Как-то Кербелаи взял меня с собой в Мардакан на дачу Хаджи Зейналабдина. До сих пор помню, был такой же жаркий день. Мы остановили фаэтон перед его дачей. Дядя привез Хаджи мешок отборного тмин, знал, что тот любит наш тмин. Хаджи стоял у бассейна, находящегося недалеко от двухэтажного особняка, подперев руками бока. Кажется, он разглядывал рыбок в бассейне. Завидев нас, сказал: «Проходи, Кербелаи Мухтар, по запаху тмин я сразу понял, что это ты». Прав был покойный. Если наш анис перемолоть, то, клянусь, запах его не выветрится до скончания века. Видимо, Хаджи почуял запах сразу, как только мы сошли с фаэтона. Мы сидели в беседке и беседовали, в общем-то, я был маленьким тогда и молчал, какое право я имел открыть при них рот, тогда от одного строгого взгляда дяди Мухтара готов был провалиться сквозь землю. Прервав беседу, Хаджи Зейналабдин вдруг сказал: «Кербалаи, я все наблюдаю за мальчиком, он производит впечатление умного ребенка, наверное, он уже и медресе закончил. Давай в следующем году пошлем его в Россию, пусть выучится, станет образованным. А так – пропадет ведь, жалко». И дядя Мухтар, взглянув на меня, сказал: «Не надо, не хватало еще, чтобы всю оставшуюся честь и мусульманство он потерял.» Слова эти не понравились Хаджи Зейналабдину, он нахмурился, сказал: «Почему ты так говоришь, Гыбле Мухтар, разве наши юноши, поехавшие учиться, теряют свою честь?»

Кербелаи вначале хотел сменить тему разговора, поджав губы, он сказал: «Хаджи, не заставляй меня говорить, не приведи Аллах, скажу что-то такое, что обидит тебя, ты же знаешь, я сдерживать свой язык не умею».

Но Хаджи Зейналабдину не терпелось услышать мнение дяди. Он подвинул свое кресло ближе к дяде и сказал: «Кербелаи, начал говорить, говори до конца, если есть что на душе, выкладывай, или я дурное дело делаю, посылая наших юношей учиться, чтобы они людьми стали, а?»

Кербелаи понял, что Хаджи от него не отстанет: «Нет, ты хорошее дело делаешь, но… клянусь Аллахом, не знаю, ты же сам хорошо знаешь, Хаджи, что народ живет по законам чести и веры, а эта наука, будь она неладна, ее ни языком слизать, ни зубами ухватить невозможно, чтобы овладеть этой наукой, надо отказаться или от веры, или от чести. Другого пути нет. И уезжающие учиться в Россию или Францию вынуждены отказаться или от одного, или от другого. Ты что, не видишь, что вернувшиеся из Европы стали хуже русских. Никого, кроме себя, не признают. И потом, образованием из осла человека не сделаешь, он просто превратится в осла, нагруженного книгами».

Хаджи помолчал, сделал глоток чая из стакана, стоящего перед ним, и наконец сказал: «Кербелаи, что нам делать, если наука у них сильна, вот мы особняки строим, воду проводим, нам врачи нужны, инженеры, а нам приходится искать их в России, Франции. Так лучше своих обучать и своим платить».

Дядя не согласился: «Ай, Хаджи, им голову так забивают, что по возвращении они смеются над нашими бородами и папахами. Ты думаешь, они тебя благодарить будут? Нет, при первой же возможности они пойдут против тебя, потому что именно этому их там учат. Они дают образование и взамен забирают наше воспитание, обычаи, мусульманские ценности. Так что лучше пусть учатся в медресе».

Хаджи рассмеялся и сказал: «Кербелаи, во-первых, у нас много людей, полу-

чивших образование в медресе, и мы всех их уважаем, чему ты сам являешься свидетелем. Но человека, обучавшегося в Куме[1], я не могу заставить рыть шурфы и проводить воду, они же не инженеры, и не могу доверить ему лечить себя. У каждого свое место, нужны и эти, и те. Ты прав в том, что наши дети сильно меняются от полученного образования, по возвращении их и узнать невозможно, тамошний воздух портит их головы. Но другого выхода у нас нет».

Эти слова еще больше вывели Кербелаи из себя: «Ай, Хаджи, что, солнце не взойдет, если петух не закукарекает, что ли? Когда иноземных архитекторов не было, мы что, дома не строили? Или ханский дворец и Девичью башню тоже русские или французы построили? Или о врачах скажу, клянусь Аллахом, моя бабка Хатун знает больше твоих врачей, обучавшихся во Франции, пусканием крови, травами, молитвами так лечит людей, что и мертвого может на ноги поставить».

Хаджи Зейналабдин снова рассмеялся: «Ну, ты не перегибай палку-то, у этих врачей есть лекарства, инструменты, у каждой части тела есть свой врач, все чисто, стерильно. Разве можно вылечить рану золой жженой тряпочки?»

Кербелаи не сдавался: «С чего это так, раньше лечилось, а сейчас не лечится? Почему, одним глазком увидев других, своих уже не признаете?»

«Да завтра, если у тебя начнутся колики в животе или еще где, или покроешься язвами и поймешь, что наши знахари помочь тебе не могут, разве ты не пойдешь к новым врачам?» – продолжал настаивать Хаджи.

«Не пойду, – упрямо ответил дядя, – если наши мусульманские лекари не вылечат меня, значит, судьба мне умереть, я должен покориться воле Божьей. Все равно, сколько бы такие люди, как я, ни сопротивлялись, ничего уже не изменится, – добавил он тихо. – Время такое, Хаджи, в тебе вины нет. Но меня тревожит другое: наши ездят за знаниями и теряют привитую им мораль, так что, думаю, лет через двадцать-тридцать наше общество будет состоять из образованных ослов. И во главе народа будут стоять именно они…»

…Передохнув, дед облизнул высохшие губы, резко нагнулся, схватил свой башмак и швырнул в крысу, которая боязливо выглянула из-за ограды двора, затем взглянул на Мирсафтара и продолжил свой рассказ.

– …Очень уж упрямый был Кербелаи, в семьдесят лет у него на груди появилась какая-то болячка, сколько ни уговаривали мы его, он так и не пошел к русскому врачу, сказал, если суждено помереть, значит, помру. За месяц истаял и умер. Но жаль, что не послал меня учиться. До сих пор ругаю себя, может, надо было сбежать из дома и поехать учиться.

– Да, – Мирсафтар вспоминает случай из своей жизни, – в нашей деревне был парень, единственный ребенок в семье, отец не разрешал ему учиться, так он забрал свои документы и сбежал из дома. Сейчас учится в Москве.

– Тогда тяжело было бы так учиться. Не сравнивай с нынешними временами. Сейчас государство платит, если ты учишься в институте. Общежитие есть, в те времена, даже если бы я сбежал, без денег учиться невозможно было. Не считая питания, каждый год надо было платить за обучение, а кто бы платил за меня?

– Вы же говорите, что Тагиев знал вас. Пошли бы к нему, он бы вам помог.

– Да нет, что ты, если бы Хаджи Зейналабдин узнал, что я сбежал из дому, схватил бы меня за уши и пинками вернул обратно домой, потому как знал характер Кербелаи. Если бы дядя прознал, что Хаджи тайно послал меня учиться, даже здо-

[1] В иранском городе Кум находится школа мусульманского богословия.

роваться бы перестал с ним, а меня все равно бы нашел, где бы я ни был, и выпустил все кишки наружу.

– Так выучились бы после установления советской власти.

– Поздно было, сынок, когда пришла советская власть, мне уже было около тридцати, да и особой охоты уже не было.

Какое-то время они помолчали, дед выплеснул оставшиеся два глотка чая в стакане к подножью тутового дерева, Мирсафтар же пытался веточкой перевернуть жука, ползающего на земле, на спину, но не тут-то было, жук оказался настырным, он не только не поддался действиям Мирсафтара, но даже, улучив момент, зацепился за веточку, пополз прямо к руке своего мучителя и, не успел тот опомниться, вонзил в него свои острые коготки. «Ой, мама», – с этим криком Мирсафтар дернулся так, будто его ударило током, и скинул с себя недавнюю свою жертву. Победитель с гордостью приподнял заднюю часть своего брюшка и, не оглянувшись, продолжил свой путь. Провожая его взглядом, Мирсафтар откинул в сторону прутик, разогнул спину, протер коричневые пятна на нардах, заметил удивленный взгляд деда, направленный на него, и задал первый пришедший ему на ум вопрос:

– Ваш дядя умер после установления советской власти?

– Нет, до того. В год, когда в город провели шолларскую воду. Бедный все ждал, когда из кранов польется вода. Говорил, что после окончания строительства трубопровода пойдет и Хаджи руку поцелует. Но не суждено ему было сделать это. Когда, наконец, провели воду, он уже лежал больной. Когда в первый раз принесли в дом шолларскую воду, сказал, что умрет, если не испробует ее. Мы не знали, что сказать ему, потому что уже несколько дней он не мог ни есть, ни пить. Но он, как мужчина, выпил целых два стакана, сказал: «Пусть будет проклят Езид[1], теперь я спокойно могу умереть». Через два дня он умер. – Дед, что-то тихо пробормотав, коснулся ладонями лица, проговорил «Да упокоит Аллах его душу», и Мирсафтар понял, что дед прочитал краткую поминальную молитву по своему дяде.

– Жаль, – Мирсафтар многозначительно качает головой, – надо было бы, чтобы он пожил, увидел новые времена.

Дед, махнув рукой, категорически с ним не соглашается:

– Ну что ты говоришь, хорошо, что он не увидел установления новой власти и нового государства. А то уж точно с его крутым нравом наутро рванул бы к Хаджи Зейналабдину, мол, вот, видишь, получилось так, как я говорил. Я ведь тебе говорил, что те, кого ты посылал учиться к неверным, при первой же возможности дадут тебе пинка. Ты мне не верил. Вот тебе и результат… – дед поднимает голову и смотрит на минареты мечети Тезе Пир, виднеющиеся вдали, – …я уж о других вещах не говорю. Если бы он увидел, во что новая власть превратила мечети, что они сделали с моллами, у него бы сердце разорвалось. Хорошо, что он вовремя умер.

– Да, и в наших краях разрушили много мечетей, пиров, какие-то превратили в амбары, какие-то – в клубы, – Мирсафтар печально покачал головой, но потом, подумав о чем-то, рассмеялся, – хорошо, что хоть в Баку остались две-три мечети. Каждый раз, проходя мимо Тезе Пир, вспоминаю нашу мечеть, и на душе становится так тоскливо. Наверное, и Тезе Пир построил Хаджи Зейналабдин.

– Нет, – дед качает головой. – Там был купол халифа, святилище. Затем эту землю купила Набатханым Ашурбекова и начала строить мечеть. Она была очень богатой, и отличалась мужской хваткой. Когда она заложила фундамент мечети, Хаджи

[1] *Езид* – правитель, с которым боролся имам Хусейн.

Зейналабдин послал своих людей сказать, что если у нее будут какие-либо трудности, финансовые или еще какие, пусть даст знать, он даст денег сколько нужно. Через пару дней он понял, что поступил неучтиво, принес ей свои извинения, в ответ она пригласила Хаджи вместе с ней заложить первый камень в основание мечети. И Хаджи принял приглашение.

На какую-то секунду Мирсафтар задерживает взгляд на двери своей комнаты, выкрашенной белой краской, словно старается воспроизвести на ней лицо Тагиева. Затем невольно произносит:

– Какова сила нефти, а! Простого каменщика миллионером сделала.

Дед собрал корки арбуза на поднос и начал выбирать оттуда косточки.

– В деревне сказали, чтобы косточки этих арбузов не выбрасывали, понадобятся на будущий год. – Затем опять вернулся к беседе о Тагиеве: – Хаджи стал миллионером не из-за нефти, Аллах за один день поднял его на вершину горы и за один день низвергнул его оттуда в глубокую пропасть.

– Разве у Тагиева не было нефтяных скважин? – удивляется Мирсафтар.

– Дорогой мой, ты что же, думаешь, что участки с нефтяными залежами бесплатно раздавались, и любой мог прийти и начать бурить скважину? Чтобы купить даже самый маленький такой участок, нужны были большие деньги. И Хаджи эти деньги Аллах сверху послал.

– Как это сверху?

– Как-то, когда еще Хаджи был каменщиком, к нему пришел человек и сказал, что его хозяин хочет видеть его. Хаджи должен был построить маленькую стенку внутри дома, ему хорошо заплатят, но его предупредили, что на глаза ему наденут повязку, чтобы он не видел, куда его везут. Хаджи согласился.

– И он не испугался? – удивляется Мирсафтар.

– А чего бояться? Он был всего лишь каменщиком. Что с ним сделают – изобьют и шпатель отнимут? Привезли его в какую-то усадьбу, ввели в комнату и только потом сняли повязку. Он увидел, что находится в богато уставленной, красивой комнате, где в кресле сидел болезненного вида пожилой человек, непохожий на мусульманина. Старик отослал своих людей, и когда они остались вдвоем, сказал Хаджи, что много слышал о нем, как о хорошем мастере. «У меня для тебя есть работа. Я болен и чувствую, что не протяну больше пяти-шести дней. Но есть у меня горе: дети мои оказались бездарными, один сын – пьяница, другой – картежник. Знаю, что, как только я умру, они растратят все богатство, которое я скопил. Поэтому я хочу, чтобы мы с тобой спрятали один сундук с золотом под лестницей в этом доме». Сделав все приготовления к работе, старик подвел Хаджи к маленькой лестнице, ведущей из дома во двор, велел разобрать одну из ступенек, Хаджи заложил туда сундук с золотом, закрыл все камнями, обратно восстановил ступеньку, все зашпаклевал, побелил. Старик сказал, что если у сыновей хватит ума, то они увидят, что одна из ступенек выше других. Поймут, что тут что-то не так, тогда пусть забирают клад, я благословляю их. Если не догадаются, пусть остается тому, кому Бог его пошлет.

Вечером, когда уже работа была закончена, Хаджи не поленился, специально выпачкал туфли в извести. Затем пришли слуги, заплатили хорошие деньги за работу, опять надели ему на глаза повязку, посадили на фаэтон, привезли в центр города и отпустили. В ту же ночь Хаджи прошелся по кварталам, где по его предположению работал, в поисках следов извести. Наконец, уже под утро он нашел этот особняк. Затем он обратился к тамошним маклерам и попросил, чтобы, как

только особняк этот выставят на продажу, сообщили ему. Старик был прав, через две недели после того случая маклеры сообщили ему, что сыновья выставили дом на продажу. Хаджи посетил этот дом с маклерами, как покупатель, и первым делом убедился, что сыновья клад так и не нашли. Успокоившись, он пошел и занял у кого-то деньги под проценты, купил этот дом, достал клад, затем приобрел землю с нефтяным месторождением, пробурил скважины, из которых забили нефтяные фонтаны, и стал нефтяным миллионером, – говоря это, дед осматривает лестницы нашего двора, будто обдумывает, может ли быть и там клад. Наконец продолжает свой рассказ: – Так вот, хочу сказать, Хаджи сам Аллах послал богатство, поэтому он и не скупился никогда, помогал народу всем, чем мог, знал, что как Аллах все дал, так и забрать может. Именно так и бывает. Как только установилась новая власть, у него отобрали все, что он имел, и оставили только дачу в Мардакане. Там он и умер. Знаешь, сколько народу пришло на его похороны?! Даже когда Сталин умер, на улицах было меньше народу. Было ощущение, что город подвергся нашествию муравьев…

В это время послышался звук сильного пинка по воротам, дед и Мирсафтар обернулись и увидели прислонившегося к двери моего дядю. Было видно, что он едва держится на ногах, а глаза, кажется, смотрят в разные стороны. Но он не похож был на пьяного или обкурившегося анашой, к чему уже все привыкли, потому что на лице дяди отсутствовала блуждающая сияющая улыбка, говорящая о его веселом настроении. Явно случилось что-то из ряда вон выходящее.

Первым это почувствовал дед. Резко поднявшись, он отбросил стул, на котором сидел, в сторону, но идти к дяде пока не решался и сдавленным голосом спросил:

– Что случилось?

Поправляя рубашку, наполовину застегнутую на груди, дядя странным, звучащим будто из глубины колодца голосом ответил:

– Дочь Джабраила облила себя керосином и сожгла себя заживо.

СЕДЬМОЙ ФРАГМЕНТ

Дойдя до этого места в своем повествовании, я, задумавшись, сделал паузу и понял, что моим заметкам об истории Баку чего-то недостает. И это что-то, каким бы маленьким оно ни было, настолько важно, что я вынужден, отложив основные факты в сторону, обдумать и найти то, из чего состоит это неведомое «что-то».

Должен сказать, что поиски этого «чего-то» не заняли у меня много времени, оно само пришло и напомнило о своем существовании; как говорил Кербелаи Исмаил, «я еще в состоянии понять, откуда и куда катится этот мир». Да, это «что-то», которого так не хватало, как всегда, и тут продемонстрировало свой характер и, согласно пословице, как непрошеный лезгинский гость, встало в центре и захватило всеобщее внимание и контроль над ситуацией.

Думаю, проницательный читатель понял, о чем идет речь (на самом деле и недалекому читателю нетрудно будет догадаться о том, что я имею в виду, потому что любви одинаково подвластны как умные, так и не очень, она является ко всем без разбору… ой, кажется, я проговорился раньше времени).

Да, речь идет о любви, и вы, наверное, согласитесь, что именно ее и не хватает в нашем повествовании о Баку, любви – этого чистого, прекрасного чувства между двумя юными созданиями. И отношения эти должны быть столь непорочны, столь чисты и возвышенны, чтобы не затерялись они среди грязных, черных, покры-

тых киром бакинских крыш. Ведь чтобы выделиться в Баку, надо быть белого цвета.

В последней части моего повествования мы остановились на том моменте, когда мой дед с нашим квартирантом играл в нарды, и тут в воротах нашего двора появился мой дядя и сообщил о некоем Джабраиле и его дочери, которая, облившись керосином, сожгла себя. Мне самому очень интересно, кто такой этот Джабраил и почему самосожжение его дочери так подействовало на моего дядю?

Итак, мы опять возвращаемся в Баку пятидесятилетней давности и окидываем взором начало истории, свидетелями конца которой мы стали.

Хотя старики и помнили, когда примерно переехал Джабраил в наш квартал, но откуда он родом, никто толком не знал. Одни говорили, что он иранец из Казвина, другие – из астраханских татар, третьи – из ростовских цыган. И причиной такого разброса мнений был сам Джабраил. Переехав в наш квартал еще до революции и не имея в Баку ни одного родственника, каждый раз на вопросы он давал разные ответы, в зависимости от настроения. Когда был трезв, говорил, что род его на протяжении последних двухсот лет жил в Астрахани и занимался рыболовством; когда был пьяным, вспоминал Иран, бил себя по голове и плакал, клялся всеми алкогольными напитками мира, что как только появится возможность, соберет все, что у него есть, и вернется на родину; а накурившись анаши, начинал рассказывать о лошадях в своем таборе и пел песни на странном языке, которого никто не понимал.

Таким образом, за сорок лет, что он прожил в нашем квартале, так никто и не понял, кто он, откуда пришел и к какой национальности принадлежит. Но мне кажется, самое верное мнение о нем высказала моя бабушка тридцать лет назад, сказав, что Джабраил – молтаны[1].

Хотя ни моя бабушка, ни вообще никто не знал истинного значения слова молтаны, слово это, сойдя с бабушкиных уст, скоро прилепилось к Джабраилу навсегда. И причиной этого, наверное, было то, что родословная Джабраила оставалась такой же темной, как и значение этого слова, другими словами, и то, и другое оставалось за завесой неизвестности.

Так и стали называть нового соседа Молтаны Джабраил. Он и сам не мог противиться этой приставке к своему имени, потому что, повторюсь, никто не знал ни положительного, ни отрицательного значения этого слова.

Но отличие Джабраила от всех наших жителей было не в вышесказанном, а в том, что дом его стоял задом наперед.

Видимо, придется подробно остановиться на этой теме. В предыдущих главах, рассказывая о географическом расположении нашего квартала, я говорил, что находился он между станцией метро «Бакы Совети» (которая в то время только начинала строиться) и памятником Нариману Нариманову (который тогда еще тоже не был возведен), и кварталы там были расположены как кресла в амфитеатре: каждый следующий дом был расположен на пять-шесть метров выше предыдущего, так что с веранд всех домов можно было наслаждаться видом моря. И у всех дома были именно такие, кроме дома Джабраила.

У Джабраила дом стоял к морю «задом». Старожилы говорили, что когда Джабраил купил землю и начал строить дом, землю перед его участком купил какой-то богатый человек и возвел большой трехэтажный дом, а маленький участок Джабраила остался зажатым между этим особняком и дорогой, идущей вверх. Он понял: чтобы построить дом с видом на море, ему надо поднять, как минимум, три этажа. А

[1] *Moltanı (азерб.)* – человек беспутный, не имеющий ни национальной, ни религиозной принадлежности.

возможности на это у него не было, и он решил построить свой дом фасадом к дороге. Так он и поступил.

Почему-то, когда я глядел на его двор, у меня всегда сжималось сердце, мне казалось, что я никогда не смог бы жить в таком доме. С одной стороны над двором нависали дома, стоящие выше по улице, а с другой – глаза упирались в поднимающуюся чуть ли не до неба высокую стену. Здесь мир сужался до неимоверных размеров, и это давило на меня. Даже сейчас, когда я слышу об ужасах преисподней, у меня почему-то она ассоциируется именно с этим двором.

Другое отличие двора Джабраила было в том, что у него во дворе вместо тута рос инжир. Кто-то в этом ничего удивительного не увидит. Но замечу, что в то время, как в Баку везде возвышались тутовые деревья, я впервые видел, чтобы у кого-то во дворе росло инжировое дерево. Если подняться по нашей улице на самый верх к Советской улице, то открывалась интересная панорама – во всех дворах росли крепкие, внушительные, как бакинские старики, тутовые деревья, а инжировое дерево во дворе Джабраила на этом фоне походило на толстую старуху, которая, поправ все правила приличия, сидела, расправив вокруг себя широкую зеленую юбку.

Джабраил был единственным мужчиной, в двери которого никогда не стучал Хазри, не засыпал его двор песком, потому что прямо с крыши трехэтажного дома, стоящего перед домом Джабраила, проносился к домам, стоящим выше по улице, не утруждая себя заглядыванием в маленький дворик, находящийся где-то внизу. Может, и заглядывал пару раз, но специально сворачивать со своего магистрального пути терпения у него не хватало, а может, Хазри считал недостойным для себя опускаться в столь низко расположенное жилище – ведь Хазри всегда принадлежал к созданиям высоко парящим.

В отличие от Хазри, тучи с двором Джабраила дружили. Когда они накрывали наш квартал, то казалось, что единственной их целью было затопить дворик Джабраила. Большая часть грязных дождевых потоков, стекая с верхних улиц, собиралась именно в его дворе, а оттуда уже стечь вниз не могла, потому что дорогу им закрывал опять же трехэтажный дом, стоящий перед домом Джабраила. В такие дни бедный Джабраил целыми днями собирал в ведра грязевую жижу в своем дворе и выливал ее на улицу. Даже когда у нас провели канализацию, мы то и дело видели Джабраила в высоких сапогах, очищающего двор от дождевых потоков. Причиной этого было то, что канализация не справлялась с дождевыми потоками, и они, стекая вниз, вновь заполняли привычное для них место. Поэтому дворик Джабраила напоминал болото. Весной и летом там можно было даже услышать кваканье лягушек. Двор Джабраила отличался от других также наличием фауны: если в нашем дворе обитали крысы и кошки, то его двор облюбовали лягушки и мокрицы. Ребята из квартала, собираясь на рыбалку, закатав штанины, собирали у него во дворе червей. Одним словом, настоящее болото. По-другому и не скажешь.

Двор этот был болотом не только в прямом, но и во всех остальных смыслах. Сколько молодых, здоровых, полных сил молодых людей пропало в этом дворе. И никто их не мог спасти. Последним, кто пропал за воротами этого двора, был лезгин Сабир, у которого в этом дворе вышла ссора с одним мужчиной из Даглы мехелле, и здорового, сильного парня ни за что зарезали. После этого Сабир переселился на Ясамальское кладбище, а Джабраила арестовали и выслали в Сибирь. Но что-то я забегаю вперед, вернемся к началу.

Дело в том, что Джабраил еще с давних времен занимался тем, что поставлял

в квартал «товар»(то есть, анашу). Именно поэтому старшее поколение квартала ненавидело Джабраила, а молодые очень даже ладили с ним. Да и потом, был он не жадным, не крысятничал. Каждый, кто хотел поймать кайф, вне зависимости от того, есть у него деньги или нет, мог запросто постучаться в его дверь, все знали, что у него зелье можно взять и в рассрочку, а если настроение у него будет хорошее, то может и «подогрев» дать.

Помимо торговли анашой Джабраил организовал в своем доме еще что-то вроде примитивного казино, раз или два в неделю молодежь собиралась здесь играть в карты. Джабраил создал им все условия для игры (там подавали чай, еду, анашу – все за счет хозяина), вне зависимости от выигрыша или проигрыша на каждом кону он брал десять процентов, так что в конечном счете в выигрыше всегда оставался Джабраил, то есть, он никогда не проигрывал.

Как ни старались аксакалы квартала положить конец деятельности Джабраила, это им так и не удалось. До революции он кормил полицейских, а после революции нашел ход к коммунистам, благодаря своему языку он создал такие связи с правоохранительными органами, что более никто не мог его тронуть, и спокойно занимался своим «бизнесом».

Жена Джабраила тетя Сара тоже не отставала от мужа в грязных делишках. Может, даже превзошла мужа в умении. Тетя Сара была самой знаменитой швеей по пошиву бохча[1] в старом Баку.

Всем известно, что в старые времена женщины редко выходили из дома, по этой причине женский фетишизм наиболее сильно проявлялся на женских свадьбах, собраниях и в бане. Наши бабушки, идя на свадьбу, похороны или в баню, надевали свои самые дорогие платья и украшения, чтобы покрасоваться перед другими.

Но, в отличие от свадеб и похорон, сидеть разряженными в бане было невозможно, поэтому женщины, раздеваясь, заворачивали свои красивые наряды в большое, сшитое из дорогой ткани специальное полотнище, сдавали его банщице и проходили в баню. И вот тут-то начинала действовать тетя Сара.

На самом деле работа этих мастериц начиналась задолго до того, как женщины приходили в баню. Швеи покупали самые дорогие, новомодные материалы в текстильных лавках и шили бохча-полотнища. Затем, сложив несколько разных бохча в мешок, приходили в баню и наблюдали за богатыми женщинами. Заметив у кого-то бохча из такого же материала, они тихонько отходили в сторону, доставали такую же бохча, раздевались, складывали в нее свою одежду и сдавали банщице, заходили в баню, проводили там минут десять-пятнадцать, выходили и забирали уже не свою бохча, а бохча богатой женщины.

У этого занятия, простого на первый взгляд, было много тонкостей, и самое трудное было – привлечь внимание банщицы к своей бохча. Если банщица запомнит цвет твоей бохча, то при выходе несложно будет забрать у нее чужую, но точно такую же бохча. А тетя Сара была настоящим виртуозом в этом деле. Красотой и сладким языком она так умела заболтать банщицу, что та запросто отдавала ей ту бохча, на которую Сара указывала.

При «удачном улове» в подмененной бохча бывало столько золота и других драгоценных вещей, что Сара могла спокойно прожить пять-шесть месяцев и не ходить в баню столь долго, чтобы банщица забыла ее лицо. У этого занятия были и другие интересные моменты, но говорить об этом можно много и долго. Главное же

[1] *Бохча (азерб.)* – квадратное полотнище, узел, в который складывали одежду.

сейчас то, что мы познакомили читателей с женой Джабраила.

Еще одно надо сказать о тете Саре. В отличие от своего мужа, она никогда не промышляла своим занятием в нашем квартале, знала, что наши женщины не дадут ей спокойной жизни. И потом, у нее не было таких защитников в лице молодежи, как у ее мужа. Именно поэтому о ее «промысле» в квартале стало известно, когда она уже состарилась.

Наконец, пришло время представить дочь Джабраила, его любимицу и отраду.

Для начала надо сказать, что долгое время у Молтаны Джабраила не было детей. Может, это сказывались проклятия, посылаемые на него в квартале, Аллах его знает, мы этого не ведаем, если бы ведали, то и мы были бы подобны Аллаху.

И сам Джабраил догадывался об этом. Однажды, когда он, по обыкновению, кутил с друзьями, будучи уже пьяным, он жаловался на свою судьбу, говорил, что знает, что Аллах за его грехи покарал его и сделал бездетным. На что его собутыльники откровенно ответили ему (видимо, и это результат алкогольного опьянения), что не только это, но и сам факт его существования является грехом. Что уж тут пенять на Аллаха?

В середине тридцатых годов, когда Хазри щедро сыпал на людей пыль и песок, во дворе Джабраила случилась разборка, в результате которой был зарезан парень из нашего квартала – лезгин Сабир. После этого вместе с убийцей арестовали и Джабраила и выслали в безлюдные степи Казахстана.

Так Джабраил покинул наш квартал, и все, особенно старшее поколение, спокойно вздохнули, все были уверены, что теперь не надо переживать, что их сыновья станут наркоманами и картежниками.

Наивные, они радовались тому, что сыновья спаслись из джабраилского болота, но не знали, что через пару лет их сыновей, вручив автоматы, пошлют на фронт воевать против немецких пушек и танков.

Как бы там ни было, «лучше было стать наркоманом и картежником, чем попасть под немецкие танки в далекой земле», – это были слова одного из аксакалов квартала Бабахана-киши. Сын Бабахана одно время стал заядлым картежником, все говорили, что он плохо кончит, и когда арестовали Джабраила, Бабахан-киши был одним из тех, кто больше всех радовался. Но затем он подумал и решил, что проклятая лачуга Джабраила лучше, потому что сын рядом, всегда на глазах, если что, можно было пойти и за уши вытащить его из этого злачного дома. А теперь – на фронте, среди огня и пожарищ – где искать своего ребенка? Аллах знает, под каким танком прячется и с какими русскими и армянами играет в карты? И если проиграется, тут хоть в дверь постучатся и пожалуются, а там просто выпустят в голову всю обойму, и все. И что тогда лучше?

Видимо, Бабахан-киши хорошо знал своего сына, потому что, когда после войны его сын живым и здоровым вернулся с фронта, грудь его была полна орденами и медалями, и как-то во время застолья под пьяное дело он проговорился, что все эти медали и ордена выиграл в карты.

Кажется, мы опять отвлеклись от нашего рассказа. Итак, Джабраил покинул квартал, но, к удивлению многих, наказание его было мягким, через пять-шесть месяцев после окончания войны, в дождливый осенний день соседи вновь увидели Джабраила, опять очищающего свой двор от сточных вод.

Но больше всего обитателей квартала удивило не то, что он вернулся, а то каким он вернулся.

Джабраил, ходивший в шапке набекрень, беспрерывно крутящий в зубах сигарету «Казбек», с рубашкой, вечно вылезающей из штанов, с лисьими глазами, теперь был похож на набожных стариков из бакинских деревень: соседи, и особенно аксакалы квартала, увидев аккуратно расчесанные бороду и усы, высокую папаху на голове, четки со сто одной бусиной, маленький Коран, который он носил все время с собой и то и дело вытаскивал, целовал и прикладывал к глазам, не могли поверить в эту метаморфозу. Казалось, это был не он, а его давний предок, бывший ахундом или шейхом.

Изменилась и лексика Джабраила. Этот барыга, для которого Баиловская тюрьма была чуть ли не родным домом, теперь говорил, как ахунды, имеющие высшее духовное образование.

По его словам, случилось так, что в Казахстане он отбывал ссылку с несколькими ахундами и моллами из абшеронских деревень, они-то и наставили его на истинный путь, сделали из него человека, как он сам говорил.

И результатом этих изменений стало то, что он прекратил торговлю наркотиками, и хотя это ощутимо сказалось на его финансовом положении, он, как мужчина, держал данное им слово.

Безусловно, после всего этого отношение к Джабраилу резко изменилось, к нему теперь все относились с уважением, на собраниях его приглашали на почетное место, внимали каждому его слову, и слова его теперь имели вес.

Но все эти изменения в нем прибавили уважения к нему не только среди жителей квартала, даже Аллах, увидев такое перерождение, открыл и для него врата милосердия, и через полтора года после возвращения Джабраила из ссылки, все заметили, что живот его жены Сары, которой уже было под пятьдесят, начинает расти.

Вначале никто не обратил на это внимания, но через пару месяцев стало очевидно, что Сара на самом деле беременна и с Божьей помощью к лету родит Джабраилу ребенка.

Так и случилось. В один из летних дней, когда бакинцы изнывали от жары и мечтали о спасительном Хазри, у Джабраила родилась дочь. Как бы сильно жильцы квартала ни радовались перерождению Джабраила, их радость нельзя было сравнить с радостью, связанной с рождением этого ребенка.

Но рождение дочери Джабраила как-то не очень обрадовало, может, в душе он хотел иметь сына, но этого уж никто не знал. Джабраил и сам вначале виду не подавал, только когда ребенку уже исполнился год, в поведении Джабраила опять произошли изменения. Вернее, не изменения, а исчезновение положительных изменений, то есть Джабраил опять стал таким же, как прежде, постепенно он вернулся к жизни, которую вел до ареста. Он обрил бороду, забросил в угол папаху, четки, Коран и опять занялся наркоторговлей, открыл подпольный игорный дом, так что вскоре уважение и почет, которые он заработал в квартале (особенно у старшего поколения), растаяли, как дым от «Казбека».

И пошли опять пересуды: мол, Джабраил от Аллаха хотел сына за то, что встал на праведный путь, а когда родилась дочь, он посчитал себя обманутым и обиделся на Творца. Другие говорили, что дурная натура его одержала верх и не позволила остаться на пути Божьем. И в конце высказала свое мнение моя бабушка: когда на поминках в квартале опять заговорили о Джабраиле, она сказала, что у Джабраила было все, кроме детей, и Аллах дал ему ребенка. Вот он и думает, что, получив и это, он больше не нуждается во Всевышнем и спокойно может обойтись и без него.

Но всем известно, что, насколько бы велико ни было терпение и милосердие Аллаха, он все-таки не любит, когда с ним не считаются. И ближайшие пять-шесть лет всех жителей квартала, особенно пожилых людей, интересовал вопрос: как Всевышний накажет Джабраила за его отступничество?

Когда девочке исполнилось лет пять или шесть, всем стало ясно, как Всевышний решил наказать Джабраила. По кварталу поползли слухи, что эта очень красивая девочка, напоминающая свою мать в ее лучшие годы, кажется, отстает в умственном развитии.

В первую очередь, эта девочка упрямо не хотела понять различия между женщинами и мужчинами. Сегодня она заходила в соседний двор, где женщины мыли ковры, и сидела рядом с ними, а завтра она крутилась у слесарной мастерской, где работали вымазанные в машинном масле мужчины, или же стояла рядом с мужиками, играющими в нарды. И везде она умела зажигать для себя зеленый свет. С трех-четырех лет она могла запросто заходить в любой двор и находила какие-то темы для разговоров. Правда, никто, кроме нее самой, понять ее не мог. О каждом событии или человеке она высказывала такие странные, на первый взгляд, противоестественные вещи, что люди только хлопали глазами и пожимали плечами.

Кто знает, если бы она попала в какое-то модернистское общество, ее бы объявили гением, но наших хватило только на то, чтобы просто высказать суждение, что у Джабраила дочка «тронутая», и на этом все успокоились. «Что из себя представляет Джабраил, чтобы у него еще и дети нормальные были», – так говорили аксакалы квартала, но, несмотря на это, никто девочку не обижал.

Со временем квартал привык к странностям этой девочки, и все обращались с ней, как с больным ребенком. Другими словами, все смотрели на дочь Джабраила, как на котенка, вечно мешавшегося под ногами, но безвредного, и только через семь-восемь лет они вдруг обнаружили, что у этого котенка набухли груди и большую часть времени она проводит в гараже моего дяди. Нет, неправильно я сказал, и тогда никто ничего не обнаружил, просто увидели, но никто внимания не обратил, просто отмахнулись и вернулись к своим заботам. Кошка и кошка. Ходит, где хочет, обтирается, где хочет. Никому от этого вреда нет. Главное, чтобы не царапалась.

Но вскоре все поняли, что эта кошка и царапается, и первой это почувствовала бабушка. Однажды летом, когда солнце нещадно палило, растапливая кир и превращая его в мазут, проходя мимо комнаты, которую дядя превратил в амбар, она услышала разговор.

– Ты сильный?

– Да.

– Сколько раз ты можешь меня поднять?

– Сто раз.

– Нет, тогда ты не сильный. Для того, чтобы быть сильным, ты меня должен поднять, по крайней мере, двадцать раз.

– Я же сказал, что могу сто раз поднять. Сто больше двадцати.

– Кто тебе сказал?! В слове «сто» всего три буквы, а в слове «двадцать» – намного больше. Значит, двадцать больше. Когда ты поднимешь меня двадцать раз, ты тоже станешь сильным.

– Значит, если я не смогу тебя поднять, я мужчиной не стану?

– Не бойся, я тебе принесу много инжира с нашего двора, поешь и станешь сильным, поднимешь меня двадцать раз.

– Ладно, а после того, как я тебя подниму, что будет?

– Что будет? Я возьму свои туфли, приду к тебе и останусь тут навсегда, и кошку свою с собой возьму.

Стало тихо, затем послышался звук молотка по железу. Через приоткрытую дверь бабушка заглянула внутрь и увидела, что дядя разбирает какую-то деталь автомобиля, а десятилетняя дочь Джабраила, стоит возле него, опершись о его плечо рукой. От странной раскованности этой позы бабушка даже опешила.

«С этой девочкой случится что-то неладное», – мелькнуло у нее в голове, и чтобы проверить свои мысли, она без стука вошла в комнату. Увидев мать, дядя проговорил: «Эта жара доконает нас» и вновь вернулся к своей работе, дочь же Джабраила, с улыбкой поздоровавшись, отвернулась и продолжила наблюдение за дядиной работой.

По словам бабушки, от такого поведения девочки она почувствовала себя нежданным и нежеланным гостем, потому быстро вышла и закрыла за собой дверь. Но от растерянности тут же у дверей присела на скамеечку и задумалась.

«Ничего, она ребенок, пройдет время, она поймет, образумится… Так, а если не поймет, что тогда? И потом, она говорит не как ребенок. Может, она давно выросла, а мы не знаем об этом?.. Выросла! Как бы кошка ни выросла, все равно кошка».

Посидев так немного, бабушка встала и пошла в свою комнату, после длительных размышлений она решила посоветоваться с дедом.

Выйдя на улицу, она еще больше расстроилась, увидев, что дед забивает в тутовое дерево, растущее в нескольких шагах от наших ворот, какую-то табличку, а дочь Джабраила, держа в ладошках гвозди, по одному подает их деду. После того, как дед забил дощечку, девочка подала ему веревку. Бабушке стало совсем не по себе, ей показалось, что дед хочет повеситься, а малышка ему помогает в этом.

– Ты что, старый, делаешь? – кинулась она было к тутовому дереву.

– Да вот, ребенок жалуется, что у них во дворе на инжировое дерево невозможно подвесить качели. Вот я и сказал, что сооружу ей качели.

Сказав это, дед начал перекидывать веревку через толстую ветку дерева.

Тут уж бабушка не сдержалась, прикрикнула на деда:

– Да мне приходится по три месяца умолять тебя, чтобы ты вбил в стенку гвоздь для бельевой веревки. А сейчас как ты быстро отозвался на детскую просьбу.

– Так веревку она сама принесла.

Она взглянула на девочку и оторопела от ее бесстыжего взгляда, в ее взгляде был вызов. Этот взгляд выражал и детскую наивность, и бесстыжую наглость одновременно, и под этим взглядом бабушка съежилась, почувствовав свою беспомощность. Позднее бабушка говорила, что тогда ей показалось, что эта девочка вначале отберет у нее мужа, потом сыновей, а затем и внуков, выгонит ее на улицу и станет полноправной хозяйкой в ее доме.

И тогда впервые в жизни шестидесятипятилетняя женщина испугалась одиннадцатилетней девочки.

Соорудив качели, дед вернулся домой, вошел в комнату, чтобы отереть пот и передохнуть. Вслед за ним в комнату влетела бабушка.

– Ты знаешь, что эта маленькая дрянь говорила нашему младшему сыну?

– И что?

– Говорила, что возьмет свои туфли и придет сюда жить.

Дед рассмеялся, покачал головой.

– Ну и что? И мне она все время говорит, что как только научится играть в нарды, то придет жить к нам, и тогда мы сможем до утра играть в нарды.

– И ты учишь ее?

– Чему?

– Играть в нарды.

– Пару раз хотел научить, не понимает. Ну, я и бросил это дело.

– Значит, учишь ее, чтобы она пришла сюда жить? – голос бабушки стал жестче, и дед не мог понять, что ее так беспокоит.

– Ну что ты берешь в голову ее слова? Это больной ребенок, сама не понимает, что говорит.

– Ребенок? – не сдавалась бабушка. – Кто ребенок? Моя мать в ее возрасте уже двоих детей имела и третьего уже ждала.

– Да ладно тебе, не перегибай.

– Надо же, не верит. Ты хочешь сказать, что я вру?

– Ну, тогда твоя мать уже беременной родилась, – дед опять по привычке все перевел в шутку. Бабушка, поняв, что пытаться объяснить что-либо бесполезно, совсем расстроилась и оставила его в покое.

После этого случая бабушка начала тайную борьбу с дочерью Джабраила, другими словами, всеми силами старалась мешать ее вторжению в нашу семью. Как только девочка появлялась у ворот, она говорила, что сына нет дома; когда дед, взяв свою табуретку, хотел выйти посидеть в квартале, она вначале смотрела в окно, и если девочка каталась на качелях, под каким-нибудь предлогом удерживала его дома, и, наконец, в один из дней она тайно развязала веревку на качелях и спрятала. Но все было бесполезно. На следующий же день девочка где-то раздобыла и принесла толстую веревку, и так как ни деда, ни дяди дома не было, то качели ей соорудил мой отец, бывший тогда еще холостым, точнее, девочка попросила его об этом с таким видом, что отец, который куда-то собирался идти по делам, невзирая на то, что выпачкает свою выходную одежду, целых полчаса занимался подвешиванием новых качелей для нее, а затем и вовсе передумал идти, вернулся домой, нашел в сарае несколько досок, распилил их и соорудил отличное сиденье для качелей.

Девочка очень обрадовалась этому, сказала, что ей надоело подкладывать на веревку подушечку, да и падала подушка все время, а без подушки качаться больно, веревка врезается в тело. А отец ответил, что теперь в подушке особой надобности нет, можно спокойно кататься.

И в конце она с сожалением сказала, что если бы он соорудил ей тут, на качелях, еще и домик, она бы уже окончательно переехала сюда и каждый день приглашала бы его в гости.

Конечно, все это стало известно бабушке, но, в отличие от деда, сыну она ничего сказать не посмела, только переживала в душе. И больше всего она нервничала из-за безразличия ко всему происходящему жильцов квартала. Люди, которые только и занимались пересудами, отслеживали и обсуждали почти каждый шаг своих соседей, будто нарочно не замечали того, что дочь Джабраила постоянно околачивается у наших ворот. А может, просто не замечали. Я уже говорил, что жильцы квартала смотрели на нее, как на бездомного котенка, и никто не обращал особого внимания на то, где ходит и бродит этот котенок, так что вопрос даже не обсуждался. Безразличие соседей хотя и выглядело странным, однако успокоило бабушку. Через полгода после неусыпного наблюдения за девочкой ее тревоги растаяли.

Так прошло еще несколько лет, дети подросли, стволы тутовых деревьев стали толще, и все это время качели, подвешенные на тутовое дерево, беспрерывно качались, больная, очаровывающая всех дочка Джабраила, крутящаяся все время вокруг нашего дома, тоже подросла и стала двенадцати-тринадцатилетней красавицей, но в глазах всех она все еще оставалась тем же бездомным котенком.

Наконец, мой дядя достиг призывного возраста, собственно говоря, с этого все и началось…

В тот момент, когда почтальон торжественно вручил деду повестку, дядя, гонявший на крыше голубей, увидел, как один голубь неожиданно упал на бок и сдох, он и опомниться не успел.

«Надо же, опять Пирверди сглазил птицу. Не надо было отпускать его сегодня», – дядя в сердцах сплюнул. Но, спустившись с крыши и увидев повестку, он совсем позабыл о птице и о чем-то задумался.

Нет, дядя не боялся армии, он задумался совсем о другом, и через несколько часов тайна его размышлений открылась. Весь вечер просидев в своем сарае, вечером он пришел к бабушке и сказал, что перед армией хочет обручиться.

– Очень хорошо. Если ты хочешь, мы тебя обручим. Я уже хотела тебе сказать, чтобы ты, когда будешь в деревне, обратил внимание на дочь Кязыма. Такая красавица, да хранит ее Аллах. Я все время обращала на нее внимание на свадьбах. Она скромная, молчаливая, работящая, спокойная, благовоспитанная девушка. Даже когда здоровается, краснеет…

Дядя ее не перебивал. После того, как она довольно долго нахваливала дочку своего двоюродного брата, опустив голову и впервые в жизни стесняясь, он сказал, что не хочет жениться на ней.

Бабушка вначале пожала плечами, села на единственный в комнате стул и сказала: ладно, скажи тогда, кто тебе понравился в деревне? Может, какую-то девушку увидел на свадьбе, и она понравилась тебе? Не стесняйся, скажи, кто она такая.

В те времена было обычным делом для выходцев из деревень брать в жены своих же деревенских девушек, так что большая часть наших парней, осевших в городе, была жената на своих же деревенских девушках. Поэтому бабушке ничего другого и в голову прийти не могло, сыну, естественно, кто-то понравился из их деревни. Можно подумать, в городе девушек не было.

– Нет, я не хочу девушку из деревни, – ответил дядя, не поднимая головы.

– А откуда же ты хочешь?

– Из квартала.

– Из нашего квартала? – бабушка не на шутку встревожилась: а вдруг ее сын, как эти современные парни, выберет себе в жены русскую или армянку, и тогда уж горе семье нашей. Вдруг ей в голову пришла совсем уж страшная мысль.

– Ты, случаем, не связался с дочкой проводницы Шуры?

У бабушки были основания так думать, потому что в нашем квартале единственной подходящей по возрасту дяде девушкой была Маша (хотя девственность ее была под большим вопросом), дочь Шуры, муж которой погиб на войне.

– …Ты в своем уме, на вокзале нет ни одного мужика, с которым бы ее мать не заводила шашни. А дочка ее что из себя представляет? Желтая, как веник, неделями не расчесывается.

– Да нет, какое мне дело до Шуриной дочки, – дядя, наконец, осмелел и повысил голос, – нет, я хочу жениться на дочери Джабраила.

– Кого? Какого Джабраила? – бабушка удивилась, опять ее мысли ушли в направлении деревни, решила, может, сын говорил о квартале в деревне, и Джабраил – какой-то дальний родственник, о котором она позабыла. Но дядя прервал ее размышления:

– Сколько в нашем квартале Джабраилов? Я говорю о Молтане Джабраиле. Я хочу жениться на его дочери…

Нокаут. Бабушке показалось, что Судный день, о котором на поминках рассказывала молла Месмеханым, наступил, и она уже слышит трубный глас архангела Гавриила, и от этого звука ее барабанные перепонки сейчас лопнут.

Увидев на лице бабушки эффект, который произвели его слова, дядя на какую-то минуту растерялся, решил, что бабушка потеряла сознание. Бабушка с трудом взяла себя в руки, тяжело поднялась на ноги, налила себе воды из графина, стоящего на подоконнике, затем вернулась и опять села напротив сына. Между ними произошел приблизительно такой разговор:

– Кого, ты сказал, любишь?

– Дочку Молтаны Джабраила.

Короткая пауза.

– Дочка Джабраила еще ребенок, ей двенадцать-тринадцать лет. И потом она больная.

– Ну и что?

– Дочка Джабраила – как бездомный котенок. Она выросла на улице.

– Ну и что?

– Ей все равно, что женщины, что мужчины, сует свой нос, где можно и где нельзя.

– Ну и что?

– Джабраила в квартале жалуют не больше, чем собаку.

– Ну и что?

– Его дом – караван-сарай, все бездельники, наркоманы, пьяницы, картежники собираются там.

– Ну и что?

– Как ты себе представляешь, чтобы твой отец, уважаемый всеми аксакал, пошел к какому-то молтаны сватать его дочку?

– Ну и что?

– А ты не думаешь о том, что весь Баку над нами будет потешаться? Я уж не говорю о наших деревенских.

– Ну и что?

Наступила тишина. Наконец, дядя заговорил:

– Мама, но я люблю эту девушку. Очень люблю. Очень.

– Ну и что?

Казалось, они не хотят понять друг друга, и если так пойдет, то разговор продолжится до вечера, и это «Ну и что», ударяясь о стены, в конце концов разрушит дом.

Первой поняла это бабушка и, вздохнув, решила подойти к разговору с другой стороны.

– Но ты же не ребенок. Зачем тебе девочка, которая тебе и до пояса не достает? Ну, предположим, выросла она. Ну, какая из нее жена? Она не изменится, на всю жизнь останется такой же бездомной кошкой. Вначале бездомным котенком,

потом станет бездомной кошкой. Послушай меня, если хочешь обручиться, поедем в деревню, хорошенько посмотри на дочку Кязыма, может, она тебе понравится. Какой бы она дурнушкой ни была, все же красивей дочки Молтаны Джабраила.

Несколько минут дядя что-то бубнил под нос, потом спросил:

– Что, дочка Кязыма со мной будет на крыше голубей гонять?

– Что женщине делать на крыше?

– Дочка Кязыма будет сидеть рядом и помогать мне, когда я чиню машины?

– А что, женщины машины чинят?

– Дочка Кязыма будет таскать для меня наркотики у своего отца?

– Ты в своем уме? Кязым тебе что, наркоман?

– Ну и я тогда не хочу жениться на его дочери, я люблю дочку Джабраила.

– Скажи, что хочешь жениться на бездомной кошке. В таком случае, я привезу из деревни пастушью собаку, вот и посылай её сватом. Я на порог молтаны не ступлю. – Бабушка еще больше разозлилась и, сорвавшись, крикнула сыну: – Пустоголовый, ты хоть у нее самой спрашивал, пойдет ли она за тебя? Слушай, ты хотя…

Дальше дядя не слушал. Он воспринял эти слова бабушки как призыв к действию и, бросив: «Сейчас у нее самой спрошу», выскочил из комнаты.

Выйдя на улицу, он увидел дочку Джабраила на ее обычном месте, на качелях. Завидев его, она спросила, что случилось с голубем, что он так неожиданно умер?

– А ты откуда знаешь, что он умер?

– Видела, как кошка тащила его в зубах.

– Да бог с ней, с этой птицей, – дядя махнул рукой и перешел к главной теме. – В конце месяца я ухожу в армию. Но прежде я хочу обручиться. Станешь моей невестой?

Девочка остановила качели и спрыгнула на землю, подошла вплотную к дяде, подняла голову, взглянула ему в глаза и странным голосом спросила:

– И ты меня любишь?

– Да, – уверенно ответил дядя.

Глаза ее засветились, как у маленького ребенка (она и была ребенком, что такое двенадцать лет?), будто она только и ждала этих слов.

– Если ты меня любишь, то пойдем на Девичью башню и спрыгнем вниз, – весело сказала она.

– Зачем тебе Девичья башня? Это далеко. Вон Тезе Пир, давай уж прыгнем с минарета этой мечети, – рассмеялся дядя.

Ну, слава Богу, хорошо, что не сказал, давай спрыгнем с башни АзТВ. А может, тогда АзТВ не было, а может, и было. Точно не знаю, я тогда еще не родился.

На самом деле разговор о прыжке с Девичьей башни возник не на пустом месте, у него была большая предыстория. Единственным человеком, который серьезно воспринимал дочку Джабраила и слушал все, что она говорила, был мой дядя.

Нет, не так, может, он всерьез и не воспринимал ее слова, понимал, что все ее слова – плоды больного воображения, но, тем не менее, слушал ее с интересом, дискутировал на затронутые ею темы.

Со стороны их беседа напоминала разговор двух больных в сумасшедшем доме.

– …Другие девочки не боятся, а я очень сильно боюсь кирщиков. Они не любят кошек.

– Кошек не любят не кирщики, а каменщики.

– Нет, кирпичики. Каждый раз, когда они варят кир, они ловят черных кошек и бросают в котел, чтобы кир не пропускал воду.

– И каменщики, когда изготавливают раствор, бросают в него рыжих кошек. Тогда стена не сыреет. Вот, видишь стену нашего дома, знаешь, сколько там кошек? Иногда они мяукают по ночам, спать не дают.

– Скучают. Сколько можно оставаться приклеенными к одному месту? Они, как другие кошки, тоже хотят спуститься и погулять по кварталу.

– Да, в прошлом году мы с братом ремонтировали комнату внизу. Когда мы отодрали шпаклевку, из стены вышли и сбежали пять рыжих кошек. Я смотрел им вслед, они побежали прямо к крепости…

Такие беседы часто случались между ними, и причину, по которой мой дядя, у которого с мозгами не было никаких проблем, терпеливо сидел и вел с дочкой Джабраила идиотские беседы, я понял много позже, когда уже сам вырос. Рассказывая о прошлых днях, дядя как-то обмолвился:

– Да я накачивался наркотой, садился на улице, и эта девочка говорила все, что приходило ей на ум, а я кайфовал от этого…

Все стало ясно. Да, тут можно бесконечно много говорить о вреде наркомании, но в современном мире глобальное развитие дошло до такого уровня, что анаша уже не считается наркотиком. Конечно, рядом с кокаином и героином эта высушенная трава кажется безобидной. Сейчас наркоманы, потребляющие анашу, воспринимаются как остатки эпохи социализма.

С этой точки зрения молодых бакинцев, балующихся анашой, и наркоманами назвать нельзя. Молодость. Выпьют граммов двести, сделают две-три затяжки и проводят свои дни в пропахшем киром и асфальтом городе. Таков был и мой дядя.

Так дядя открыл мне тайну своей первой любви: он делал несколько затяжек, дочка Джабраила приходила и садилась рядом, и все, что она говорила, проходило перед его глазами, точнее, дядя опускался в мир больного воображения девочки, становился его жителем.

Конечно, те, у кого собственное воображение развито, не нуждаются в чужих вымыслах, после двух-трех затяжек ворота фантазии открываются, и они окунаются в странный, непознанный мир (когда мы были молоды, мы называли это «глюком», коротко от «галлюцинации»).

Но, по-видимому, мотор машины воображения у дяди был не таким сильным, или аккумулятор у него сел, и десятилетняя девочка играла роль перемычки для завода этого мотора.

Поэтому-то дядя и был единственным человеком, который внимательно слушал и вел беседы с дочкой Джабраила, конечно, беседы эти проходили только под кайфом.

Но и дочка Джабраила была не промах. Она почувствовала, что в нормальном состоянии дядя ее не слушает, поэтому, украв из отцовского товара щепотку-другую, всегда носила ее в своем кармане, и когда дядя был трезв, подкидывала ему «подогрев», другими словами, давала ему билет на сеанс своих детских сказок и фильмов-ужасов…

Когда же встал вопрос об армии, их беседы поменяли свое направление, они стали более мрачными, я бы сказал, потекли в более страшном направлении. Целыми днями они говорили о смерти…

– …Я матери сказал, она возьмет тебя за меня.

– …Тогда бросимся вместе в море. Как-то, когда я играла на бульваре, мой мяч упал в море. Я хотела прыгнуть вслед за ним, но меня не пустили. Я хотела обнять свой мяч и пойти половить осетрину.

– Нет, зачем тебе море? Попадешь еще в рыбацкие сети, и продадут тебя на базаре за три рубля.

– Ну и пусть. Тогда уже не пошлешь свою маму к нам, пусть сразу идет на базар и возьмет меня тебе. А если нет, так ты сам приходи. У тебя деньги есть? Сможешь купить меня?

– Есть, конечно. Куплю, я люблю рыбу. Куплю, жена пожарит, я вечером поем.

– Нет, не отдавай меня на жарку, лучше брось меня в банку с водой. Так лучше…

Честно говоря, я не могу сказать, насколько эти отношения можно сравнить с любовью. Может, это надо было бы назвать по-другому, а может, это и была настоящая любовь. Аллах знает. Во всяком случае, когда речь идет о любви, разум бессилен. Как говорил великий Физули:

Нет союза разума с любовью,
Нет места разуму в любви

Знаю только одно: какой бы больной ни была десятилетняя дочка Джабраила, она понимала, что никто ей моего дядю не заменит, и кто бы насколько ни был под кайфом, он не будет часами сидеть и слушать ее, а дядя в свою очередь понимал, что никакая другая девушка не будет сидеть и разбирать его наркотические видения. В общем, они были друг для друга незаменимыми людьми, и когда встал вопрос об армии, перспектива долгой разлуки хотя и напугала обоих, но реакция у них была разной: находясь под легким наркотическим опьянением, дядя бросился к матери с просьбой об обручении, а дочка Джабраила решила, что в ближайшие пять-шесть дней они вместе должны сбежать на тот свет. И было бы хорошо, если бы этот побег они реализовали прыжком с какой-нибудь высоты.

В один из таких дней, когда дядя устал от постоянных разговоров девочки о прыжке с Девичьей башни, он сказал, что сил подниматься туда у него нет, и предложил спрыгнуть с верхней площадки Гырхпилекена.

Расстояние между верхней и нижней ступенькой было метров семь-восемь, и дядя, не дожидаясь ее ответа, спрыгнул вниз, девочка последовала за ним.

Им повезло, один из соседей, желая покрыть крышу киром, сложил на нижней площадке куски кира, которые, растаяв под солнцем, превратились в тягучую жвачку, так что любовный порыв влюбленных закончился мягким приземлением в вязкую массу.

Они не разбились. Девочка вообще не пострадала. Поднявшись, она, расстроенная тем, что выпачкалась, побежала к себе отмываться от кира, а, вернувшись, увидела, что дядя все еще старается выбраться из тягучей черной массы.

Конечно же, если бы дядя был в трезвом состоянии, он бы с легкостью выбрался оттуда, но так как мозги его были затуманены, нервная система работала с торможением, ему требовалось больше времени, чтобы сообразить, куда и зачем он попал и как из всего этого выбраться.

Когда девочка, умывшись, вернулась назад, дядя еще не до конца осознал случившегося, как он потом признавался, ему казалось, что он находится среди негри-

тянок, от жары эти девушки так вспотели, что тела их стали липкими и, как подгоревшая вермишель на сковороде, липнут друг к другу, так что и разобрать невозможно, где их головы, где ноги. Но самое удивительное для него было то, что эти девушки пахнут киром. Он решил, что, наверное, и африканские жители переняли у наших даглинцев профессию кирпичика, и теперь, когда их женщины провожают своих мужей на работу, то занимаются тем, что покрывают свои крыши киром.

Никто не знал, как долго пробарахтался дядя в растаявшем тягучем кире. Один из ребят увидел его и, с трудом вытащив из липкой массы, потащил отмываться к водопроводному крану поблизости.

Дядя отмылся, но, как ни старался, вспомнить, как он попал в кир, никак не мог, а дочка Джабраила ему ничего не сказала.

…Так первая попытка девочки закончилась неудачей.

На следующий день, подкинув ему «грев», она опять начала свои беседы и в конце предложила пойти и кинуться под трамвай № 5.

И опять дядя, покачиваясь, поплелся за ней, но и эта попытка закончилась ничем: в последнюю секунду, когда они уже хотели броситься под трамвай, дядя вдруг очнулся и отпрыгнул в сторону, и первая мысль, которая появилась у него в мозгу, это водитель трамвая специально хотел задавить его. Разозлившись, он побежал за трамваем, запрыгнул в заднюю дверь и прямо в трамвае избил водителя.

Конечно же, никто не обратил внимания на то, что рядом с дядей крутится десятилетняя девочка. Виноватым объявили наркотическое опьянение дяди, соседи говорили, мол, ничего, скоро ребенок в армию идет, пусть развлекается, после возвращения поумнеет, бросит наркотики (ребята из квартала в самом деле из армии возвращались другими людьми, возмужавшими, серьезными и наркотиками уже не баловались).

Но и дочь Джабраила осознавала это. Какой бы «больной» она ни была, понимала, что после армии дядя бросит баловаться наркотиками, и тогда никто в квартале не будет сидеть и беседовать с ней. Поэтому она хотела во что бы то ни стало накачать его наркотиками и оставить его навечно в своем мире. Хотя первые попытки и не увенчались успехом, она не падала духом, потому что впереди было еще три-четыре дня. А за это время много чего можно сделать. И сделала бы, если бы не прозорливость бабушки, которая почувствовала, что тут что-то не то…

На самом деле, когда в последние дни перед армией с дядей начали случаться все эти истории, бабушка сразу заподозрила что-то неладное, и в прыжке с Гырхпилекена, и в истории с трамваем явно была рука джабраиловской дочки.

Стараться что-то вызнать у дяди было делом бесполезным, в те дни он толком и своего имени не смог бы назвать. Потому что в тот же день, когда дядя получил повестку, дочка Джабраила украла у отца целую горсть отличной анаши, привезенной из Туркменистана, и понемногу давала дяде, так что тот все дни напролет находился под кайфом. И если раньше в знак уважения он в такие моменты прятался, то теперь, после получения повестки делал это открыто. Сидя посреди двора, наполнял семь-восемь сигарет анашой и до поздней ночи потихоньку их выкуривал.

– Ничего, – сказал дед бабушке, указывая на сына, – через три-четыре дня пойдет в армию. Аллах милостив, после возвращения он, как и другие ребята, бросит это дело. Пусть наслаждается.

Конечно же, дед не понимал, что тут дело не только в наслаждении, была и другая причина.

Так что хоть дядя объяснить все происходящее вразумительно был не в состоянии, бабушка сразу поняла, в чем тут дело, и незамедлительно начала действовать…

– Дочка Джабраила все еще хочет научиться играть в нарды? – спросила она, садясь рядом с дедом на скамейку во дворе.

– Да. Только где у меня терпение, чтобы учить маленького ребенка, – ответил дед, стряхивая с ладони ползущего муравья.

– А ты научи. Все равно дел у тебя нет, – бабушка постаралась найти какую-нибудь причину, чтобы уговорить деда. Заметив пустующие качели, она продолжила: – Я уж сколько времени замечаю, что она все время качается на качелях. Не приведи Аллах, упадет, разобьется, или веревка оборвется, упадет, покалечится.

– Да, и я несколько раз сердился на нее, но она не слушает. Тормозов у нее нет, качается, как на самолете, – подтвердил дед.

– И я о том говорю, посидел бы с ней, научил бы в нарды играть, она бы отвлеклась и забыла о качелях. А так, если что с ней случится, то грех падет на нас. Ведь наш сын подвесил эти качели для нее.

Дед обернулся и еще раз посмотрел на качели, кажется, он был согласен с бабушкой.

– Права ты. Не приведи Аллах, упадет оттуда, нехорошо будет. Ладно, когда придет, я позову и научу ее играть в нарды.

Если рассмотреть этот шаг бабушки с точки зрения игры в шахматы, получится, что она выдвинула старого слона, чтобы отвлечь вражеского визиря от молодого офицера.

Дед сдержал слово. Часа через два дочка Джабраила опять появилась в нашем дворе. Увидев ее, дед вынес нарды и подозвал девочку.

Услышав предложение деда, она вначале немного помолчала. Подняв голову, посмотрела на дядю, который на крыше гонял голубей, и нехотя, но дала согласие. Так девочка начала осваивать нарды. Она села напротив деда, и урок начался. Конечно, научиться играть в нарды – дело нелегкое, особенно для десятилетнего ребенка. Надо сосредоточить все внимание на игре, а это именно то, чего добивалась бабушка.

Первые тридцать минут все внимание девочки все равно было направлено на крышу, то и дело она поглядывала на голубей, которых гонял дядя. Будто ждала, когда же тот спустится вниз. Но через час она так увлеклась игрой, что до вечера не отставала от деда, даже по нужде деда не отпустила. Игра показалась ей такой интересной и захватывающей, что, если бы не стемнело и дед не начал клевать носом, она до утра бы его не отпустила. Итак, дочка Джабраила весь день провела за обучением игры в нарды, тем самым упустив время и утратив контроль за событиями, а бабушка, бывшая начеку, перехватила у нее инициативу.

Первое, что сделала бабушка, это приготовила на обед сыну хингял и подала холодный гатыг, заправленный чесноком. Конечно же, чеснока она тут не пожалела. После обеда от холодного гатыга и чеснока дядя немного пришел в себя, туман в голове рассеялся, и бабушка, сразу подступив к нему, уговорила его ехать в деревню.

– Нехорошо это, они обидятся. Поезжай, встреться с родственниками, попрощайся с ними. А то потом начнут говорить, вот, мол, городской стал, знаться с нами не желает, свысока на нас смотрит.

Дядя не противился, взял кепку, посвистывая, вышел на улицу, завидев пустые

качели, вначале удивился, но, посмотрев в другую сторону, увидев, что за нардами идет оживленная дискуссия по поводу выпавших зар, рассмеялся и направился к остановке трамвая, откуда он должен был доехать до Сабунчинского вокзала, а затем добираться на электричке до деревни.

Только тогда, когда он, побежав, запрыгнул в заднюю дверь трамвая, бабушка, наблюдавшая за ним из окна, облегченно вздохнула. Она знала, что его так просто из деревни не отпустят, начнут приглашать к себе, созывать для него гостей, короче, следующие три дня сын будет занят.

Так и случилось, дядя с трудом вырвался от родственников и приехал рано утром того дня, когда он уже должен был отправляться на сборы…

А что же делала дочка Джабраила в эти три дня?

Первые два дня она была полностью увлечена нардами, даже принесла из дома целую кастрюльку поджаренных семечек, чтобы грызть их во время игры, и только вечером второго дня дед обмолвился ненароком, что у сына вышло время, завтра он идет в армию, и он поехал в деревню, чтобы попрощаться с родственниками.

Услышав это, девочка на какое-то мгновение замерла, затем подняла голову и посмотрела на крышу, где была голубятня, только теперь поняв, что за эти два дня она только один раз видела дядю.

Спокойно спросила: когда же он вернется? Дед и ответил, что, наверное, завтра рано утром, соберет вещи и отправится в военкомат.

Девочка аккуратно положила зары на край стола, почесала маленький прыщ на носу, как-то странно поморгала и, посидев какое-то время без движения, что-то обдумывая, потом, ничего не говоря, поднялась с места и направилась к качелям, но не села на сиденье, а встала на них и начала качаться…

– Детка, осторожней, сейчас эта ветка поломается… – через несколько минут голос деда раздался по всему кварталу, – остановись, сейчас упадешь, осторожнее.

На голос деда бабушка выглянула в окно и увидела, что девочка качается так сильно, что огромное тутовое дерево со скрипом гнется в такт ее раскачиваниям. От неожиданности закричала и бабушка:

– Вахсей, сейчас ребенок упадет.

Девочка же никого не слушала и все сильнее раскачивала качели. Будто, как дядя говорил, «разгонялась», чтобы улететь в небо. Через несколько секунд ее ноги уже касались крыши нашего двухэтажного дома, и если бы качели были не подвешены на дереве, а крепились на трубе, то она превратилась бы в большой вентилятор…

На крики бабушки и деда вначале вышли на улицу соседи, все собрались на безопасном расстоянии вокруг тутового дерева, гвалт стоял по всему кварталу, затем послали кого-то к Джабраилу. Но девочке было все равно, она была в своем мире, и глаза ее не видели ничего, кроме неба, которое то приближалось, то отдалялось.

Несколько раз соседи пытались подойти поближе, но безуспешно, боялись, если они схватят веревку, девочка не удержится и упадет головой вниз. Просьбы и мольбы никакого воздействия не имели, казалось, она ничего не слышит. Она качалась с безумной скоростью и порой, пугая собравшихся, испускала дикие крики.

Все жильцы квартала в ужасе смотрели на это действо, девочка качалась, ветка скрипела, ее ноги касались крыши, а она все сильнее и сильнее раскачивала качели.

Никто не мог сказать, как долго все это продолжалось – пять, десять минут или час. Казалось, все, затаив дыхание, ждут, когда она упадет…

Жуткое молчание нарушил сдавленный голос, послышавшийся из последних рядов.

– Сейчас она взлетит, как голубь, – это был друг дяди по «Казбеку» Селим. – Клянусь святыми, так и будет. Если сейчас веревка порвется, она взлетит.

Девочка будто ждала этих слов, постепенно она начала сбавлять обороты и, наконец, спрыгнув вниз, подошла к Селиму и, глядя ему в глаза, сказала:

– Нет, я одна никуда не полечу.

И, пройдя сквозь толпу ничего не понимающих людей, ушла домой…

На следующий день, поднявшись рано утром, она взяла бутылку керосина, которую до этого купила мать, вышла на улицу к своим воротам и начала ждать. Мать купила керосин, чтобы вычистить ее волосы от вшей, поэтому, когда девочка на улице полила свои волосы керосином, мать не удивилась, решила, что девочка хочет сама вымыть голову керосином и облегчить ей работу. Но когда увидела, что дочь, неожиданно достав спички, зажгла их, мать вначале онемела, а когда опомнилась, тело девочки было объято пламенем…

Это случилось в то время, когда дядя, возвращаясь из деревни, проходил мимо двора Джабраила. Кажется, девочка взяла керосин на двух человек, потому сидела и ждала у ворот. Но когда она увидела дядю и заглянула ему в глаза, ей вдруг что-то не понравилось, она даже не поздоровалась, резко повернулась к нему спиной, зажгла спичку и поднесла к голове.

Что она могла увидеть в дядиных глазах? Может, то, что он был трезв, подумала, что через несколько часов он уйдет в армию, и за это короткое время ей не удастся забрать его в свой воображаемый мир. И, поняв, что она проиграла, сделала первое, что пришло ей в голову.

А может, все было не так. Но то, что дочка Джабраила совершила самосожжение в день, когда дядя уходил в армию, это точно, от многих я это слышал.

Знал я и то, что хотя она сильно обгорела, но все же осталась жива. Несколько месяцев она лежала в больнице, затем привезли ее домой, с тех пор она никогда не выходила на улицу. И когда у матери спрашивали о ней, она никогда толком не отвечала, лишь пожимала плечами, говорила «неплохо» и меняла тему разговора.

За четыре месяца до возвращения дяди из армии двор Джабраила попал под снос, им дали квартиру где-то в микрорайоне. Соседи думали, что во время переезда они хотя бы мельком увидят дочь Джабраила, но и это им не удалось. В день их переезда Хазри разбушевался и поднял такую пылищу, что и глаз нельзя было открыть…

Так что, когда дядя вернулся из армии, на месте дома Джабраила он увидел только четыре полуразрушенные стены и сломанное инжировое дерево посреди двора.

Дядя говорил, что несколько раз в городе видел издалека девушку, похожую на дочь Джабраила, но не был уверен, она ли это, и все время или подойти не было возможности, или девушка, смешавшись с толпой, исчезала…

В квартале от Джабраила осталось только инжировое дерево. И до последнего времени оно росло недалеко от Гырхпилекена на правой стороне среди развалин. Только пять-шесть лет назад, когда в городе начали возводиться высотки и стали расчищать завалы, бульдозеры выкорчевали дерево и, погрузив на «КамАЗ», вывезли куда-то.

РАФИК АСКЕРОВ

ЯРКОЕ ОБАЯНИЕ ТАЛАНТА, ИЛИ ВОСЬМОЙ МУГАМ НАТАВАН ФАИГ

Когда я слышу это имя, перед моим мысленным взором сразу встает образ гарабахской поэтессы XIX века Хуршуд Бану Натаван, в народе называемой Ханская дочь. К ней, в столицу Гарабаха Шушу стекалась вся творческая элита Азербайджана того времени. Даже такой видный писатель, как Дюма-отец, путешествуя по Кавказу, свернул с намеченного маршрута, чтобы познакомиться с этой удивительной как по красоте, так и по таланту женщиной...

Пару лет назад вышла книга, посвященная видному деятелю музыкальной культуры и моему другу, пианисту Рафику Кулиеву. Среди множества искренних статей об этом уникальном человеке обратил на себя внимание очерк-воспоминание Натаван Фаиг «Таких, как я, не было, нет и… не надо». Написанный с невероятной теплотой, тонким юмором и искрометностью, очерк сильно выделялся на общем фоне. Прочитав его, понял: она точно воскресила образ этого замечательного человека! Такое можно сделать только, если искренне любишь и ценишь талант того, о ком пишешь. Иначе быть не может. Мне захотелось позвонить и поблагодарить автора. Так у меня зародились интерес и желание познакомиться с этой неординарной личностью.

В то время я работал над книгой-воспоминаний, где среди прочих других персонажей написал и о Рафике Кулиеве. Было интересно узнать мнение Натаван о ней. Книга вышла из печати, и я попросил её о встрече.

ВСТРЕЧА С НАТАВАН

Давно я не испытывал такого чувства. Встреча с женщиной, которая заочно очаровала меня своим талантом, своим, только ей присущим особым писательским почерком, женщиной, которая стала для меня загадкой. В назначенный час я подошел к условленному месту, и, как нередко бывает, прошел мимо него и оказался в другом месте. Помог мобильник: уточнили координаты. Еще пять минут – первое рукопожатие и пристальный взгляд.

Я пытался понять, насколько внешне она соответствует внутреннему содержанию – безрезультатно. Передо мной стояла миловидная женщина и тихим, спокойным голосом говорила о предстоящей работе, осуществляемых проектах... Чувствовалось, что она постоянно занята, она торопится, она ценит время. Я пролепетал что-то о своей недавно вышедшей книге, протянул ей экземпляр, робко прося по возможности оценить написанное. Она пообещала мне ответить. Мы разошлись.

Уже по дороге домой, осмысливая нашу первую встречу и свои впечатления, понял, что доминантой всего были её глаза: яркие, выразительные, с лёгкой поволокой, в глубине которых таилась небольшая грусть. Иногда ловил себя на том, что она смотрела на меня, но взгляд скользил мимо. Неожиданно, уже на следующий день, раздался звонок.

– Это Натаван. Я просмотрела некоторые страницы. Впечатление неплохое, есть небольшие литературные огрехи, но, думаю, это не главное. Главное – уловить суть проблемы или характер героя. Считаю, что это вам удалось. Сейчас книгу читает мама, потом очередь дойдет до меня. – Чувствовалось, что она улыбнулась в трубку. Потом трубку взяла моя жена Эся и «короткий» разговор продолжался минут двадцать. Удивительно, как женщины могут

находить общие темы. Оказалось, что моя жена знает почти всю родословную Натаван-ханым. Вот так и живём, ходим под одним небом и при желании можем среди них найти кучу общих знакомых, детей и почти родственников.

ЭЛЬМИРА-ХАНЫМ – МАМА НАТАВАН

После знакомства и общения с Натаван мне довелось познакомиться с её мамой, Эльмирой-ханым, о встрече с которой, затем переросшей в уважительную дружбу, написал небольшой очерк. Считаю, что образы Натаван и Эльмиры-ханым, эти два портрета, гармонично дополняют друг друга: один – творец, другой – опора.

У таких женщин не надо спрашивать: «Кто вы?» У них все написано на лице. Спокойное лицо, гладко зачесанные назад волосы, скромное, не вычурное платье, невысокого роста, она вступает в беседу. И тут все становится на свои места – ты понимаешь, что перед тобой интересный, глубоко содержательный человек, с красивой и искровой женской статью. Она говорит, а ты уже не видишь ее седых волос, ее скромной одежды, а чувствуешь, что тебе повезло, ты встретил человека, женщину или друга, у которого за плечами большой жизненный опыт и который может щедро поделиться своими познаниями. Это многого стоит.

Достаточно одного взгляда, одной фразы – и ты понимаешь, что перед тобой интеллигентная женщина, легко ранимая, для которой принципы, на которых она росла и воспитывалась, духовно много значат. Она как гальванометр: остро реагирует на то или иное событие, внешне не выдавая себя ничем. Удивляешься, как такая хрупкая на вид женщина терпит удары судьбы! Об этом ты узнаешь позже и еще больше проникнешься к ней уважением.

Её дочь Натаван – это «свет в окне», без неё никак. Трогательно видеть, как они, держа друг друга за руки, идут с высоко поднятой головой, по этой сложной, непонятной жизни.

Глядя на них, понимаешь, что их держит духовность, которая их объединяет, которая придает им силы и энергию.

Вот так они идут по жизни, опираясь друг на друга, и поддерживая. Светлого им пути!

P.S. Я видел садик, высаженный ею у порога дома, – чудесный, ухоженный, любит она это дело. Ухаживать любит. И самый прекрасный в нем цветок – ее дочь Натаван…

ОДУХОТВОРЕННАЯ ТАЛАНТОМ

Удивительное ощущение от общения с этой женщиной. Достаточно услышать произнесённые ею две-три фразы – и невольно становишься пленником её интеллектуального обаяния. Каждое сказанное слово взвешено, произнесённые фразы с глубоким смыслом – всё это произносится тихим, лёгким обворожительным голосом, так что через минуту-другую вы стоите перед ней «как ребенок», обезоруженный её глубокими знаниями и философским взглядом на многие процессы, происходящие в обществе. И хочется слушать, слушать, слушать её – безвольно, не сопротивляясь, не возражая ни одному высказанному ею постулату. Ибо всё, что она говорит – правда, и спорить с этим невозможно.

Откуда всё это? Нет, этому выучиться невозможно, с этим надо родиться. Про таких говорят: «необыкновенное рядом». То, что делает и может сделать эта Женщина – уникально. В горном деле есть порода и редко встречающиеся самородки. Так вот, Натаван на фоне распространяющейся повсеместно мыслительной безграмотности и есть тот самый самородок, обладающий огромным интеллектуальным потенциалом.

Легким и доступным языком она раскрывает музыкальный талант Франгиз Ализаде, и творчество композитора становится близким и понятным даже людям, далеким от музыки, получает труднодоступное интервью у дирижера Рауфа Абдуллаева, выпускает книгу-шедевр, посвященную 70-летию писателя Анара, где буквально выворачивает творчество, да и его самого, наизнанку, раскрывая перед читателями огромный внутренний мир и Человеческую сущность большого писателя и нашего современника.

Натаван Фаиг обладает особенным даром. Она помогает нам увидеть то, что скрыто за

внешней оболочкой, как скальпелем вскрывает человеческие души, те или иные события, показывая в разрезе и мощь человеческого духа, и ранимость с виду сильных людей, внутреннюю несгибаемость «маленьких» людей. Она умеет увидеть то, что в суете, а может, и ложной уверенности своих «значимых» проблем, не в состоянии увидеть мы. А она видит, она обладает талантом увидеть большое в малом и не только увидеть, но и нам показать и тогда, мы как завороженные, смотрим и думаем: «А ведь мы тоже это видели, но не осознавали». Она апеллирует не столько к разуму, сколько к душе, открывая в ней все самое лучшее, приходит прозрение, и мы задаемся вопросом: «А кто есть я?! Какой он – я?» Много ли в современной литературе авторов, могущих утверждать, что его произведения затрагивают глубинную сущность его читателей?! А Натаван Фаиг это удается. Причем легко, изящно, с какой-то естественной непринужденностью и с любовью к людям. Это ли не уникальный дар?

Недавно ей позвонили и сообщили радостную весть: «Вы представлены к премии «Золотое перо» за 2015 год». Натаван была уверена, что ошиблись номером: «Я ведь не являюсь членом Союза журналистов. Как такое может быть?» «А вот заодно и вступите»… И вновь – крушение стандартов. Обычно ведь сначала вступают, потом награждают… А впрочем… Както несуразно втискивать ее в какие-то общества и союзы. Не вмещается она в них…

Натаван Фаиг человек не от мира сего. Но мир ее прекрасен: в нем комфортно и мыслям, и чувствам, и даже боли. Что до проблем бытовых... Она их признает (куда от них денешься!), но особо с ними не борется, просто смиренно несет свой Крест по Жизни. Абсолютный бессребреник. Переживает за примитивизм, к которому скатывается наш мир. «Редко с кем резонирую, созвучие своим ожиданиям – все реже». Она у меня ассоциируется с обнаженным нервом, который остро и болезненно реагирует на смешение понятий, что хорошо, что плохо, на падение духовных ценностей.

Беседуя с ней, я понял, почему она помнила и почитала Рафика Кулиева, который както передал ей бумажную салфетку с цитатой из «Завещания» Маркеса в отношении высокомерия: «Я понял, что человек имеет право взглянуть на другого сверху вниз, лишь когда он должен помочь ему встать на ноги». Их связывало не только неизбывная любовь к музыке, интеллект, а еще и нечто большее, и ни разница в возрасте, ни противоположность характеров не могли разрушить эту связь, удерживая их на одной орбите…

В одну из встреч она вдруг со вздохом огорчения сказала: «Я была вчера на свадьбе, второй день хожу оглушенная, голова раскалывается... Пыточное времяпровождение… Стало душно жить…» Неожиданно она замолчала. Задумалась. Чувствовалось, что мысль ее ушла далеко-далеко. Вдруг, как бы очнувшись, протянула руку: «До свидания! Побегу по делам».

Такая вот она – вся в движении, искренняя, прямая, возвышенная, как будто пришла к нам из XIX века...

Она ушла, а я подумал, есть же еще такие редкие женщины, о которых мы можем с гордостью сказать: «Она азербайджанка».

P.S. Обычно в конце статьи ставят точку. Но не вяжется слово «точка», когда речь идет о Натаван Фаиг. Подумал, было бы правильно рекомендовать читателю познакомиться с ее творчеством и прочесть ее книги, отдельные работы – о музыке и не только. И вы сможете раскрыть для себя людей, имена которых на слуху, совершенно с другой стороны, и возможно это поможет вам понять и самих себя. О поэтах Вагифе Самедоглу и Мансуре Векилове, писателе Анаре, о музыканте Франгиз Ализаде, об исполнителе мугамов Алиме Гасымове и другие ее работы. Прочитайте – обещаю, получите наслаждение...

После прочтения книги «Анар» я не удержался, и написал открытое письмо автору.

Уважаемая Натаван!

Я не знаю о вас ничего. Не знаю, откуда, с какой планеты вы прибыли. Не имею ни малейшего понятия о вашем жизненном пути. Я знаю только одно: вы – гений! Да. Да – гений!

Это подобно тому, как, посетив Художественную галерею, невольно останавливаешься перед какой-то картиной, от которой уже не можешь оторваться, и образ ее преследует тебя

еще многие годы. Примерно то же самое я испытал, познакомившись с вашим творчеством. Это было не просто интервью, как игра в пинг-понг – «вопрос-ответ». Это была игра двух достойных соперников. Причем, один пытается скрыть, другой – вскрыть суть человеческой натуры, суть творчества, его «Я».

Знаю многих выдающихся телеведущих-журналистов, таких как Владимир Познер, Оксана Пушкина, Андрей Малахов, Урмас Отт, теперь уже дуэты Берман-Жандарёв, Татьяна Толстая-Авдотья Смирнова. Поверьте, вы – другая. Ваше интервью – это самостоятельное литературное произведение – произведение искусства. Ваши вопросы просты и открыты настолько, что отвечая на них, интервьюируемый поневоле раскрывает все глубины своей души. Гениальность всегда проста, сложность придумана людьми недалекими.

Кажется, у Расула Гамзатова прочел – «Талант, как деньги: или есть, или нет». У вас есть то, чего нет у других – уникальность, самобытность, изящество письма. Это не ваше – это наше национальное достояние. Но как мы относимся к этому... Это другой вопрос. Берегите себя.

Искренне, Рафик Аскеров.

Затем подумал: «Лучше поздно, чем никогда». И написал небольшую рецензию-отзыв «Мысли вслух», которую счел уместным воспроизвести ниже. Вот она…

Мысли вслух о книге Натаван Фаиг «Анар»
Маленькая рецензия на Большую книгу

Я не читал, я смаковал...

Вне всякой похвалы. Сразу книгу прочитать невозможно, каждая страница требует раздумий и осмыслений. Я был вашим поклонником, а теперь стал вашим пленником. Спасибо, что Вы есть! Через вашу книгу я лучше почувствовал и понял Анара. Вы единственная, кому удалось раскрыть и показать его душу.

Это шедевр, эталон, по которому можно учить мастерству журналистов, берущих интервью. Здесь можно найти ответы на многие вопросы, в поисках которых мы пребываем. Такую книгу так просто не напишешь: это всё нужно пропустить через себя. Оформление и формат книги не стандартные – художник Мир-Теймур, как всегда, на высоте! Осколки, островки подлинной культуры, которую ни в коем случае нельзя растворить в мутной воде современной псевдокультуры. После вашей книги Анар для меня стал ближе. Человек становится ближе, когда его взгляды становятся тебе понятнее, сущностно совпадая.

Лаконизм письма, ни одного лишнего слова, ни одного предложения-сорняка. Вы – снайпер. Ваши слова – словно пули, точно ложатся в «десятку». Вся книга-интервью согрета вашим теплым отношением к творчеству Анара. Необходимо издать ваши публикации на разные темы в виде сборника. Вы, и только вы могли бы продолжить телевизионные передачи на тему «Кто есть Кто» как продолжение передач Агабека Султанова (к слову, именно Натаван посоветовала незабвенному профессору начать вести такой цикл).

Вы уникальны. Спасибо, что вы есть! Смотрю на вашу фотографию, на глубокие глаза, пронзительные и чуть печальные. Лицо обращено вперед, а взгляд скользит мимо...

Не знаю, найдется ли журнал, который смог бы у вас самой взять интервью?

На вкладышах – ненавязчивые микрорецензии, отдельные цитаты, искусно подобранные, делают книгу еще более насыщенной и органичной.

Сила писательского мастерства – это когда, прочитав книгу, задумываешься, насколько точно она передает невысказанные тобой мысли, насколько созвучны они твоему мироощущению...

Рафик Аскеров

Позже, заполучив книгу, посвященную Алиму Гасымову, не удержался, письменно вы-

сказал своё мнение и об этом шедевре писательского и издательского искусства:

НЕБОЛЬШАЯ РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ НАТАВАН ФАИГ «АЛИМ»

Слегка прикрыв глаза, представил феерическую картину: пылающие костры в лесу, всполохи которых уходят в иссиня-черное небо, усыпанное звёздами, люди-тени, перемещающиеся от одного костра к другому, и ГОЛОС, который доносится из другого мироздания. Увиденное было настолько ошеломляюще, что трудно было поверить в его реальность, и уводило нас к временам зороастризма. И эту картину написала кистью-пером замечательный художник слова Натаван Фаиг.

Уже дочитывая книгу о великом ханенде, явственно ощутил: он – ЯВЛЕНИЕ. И раскрыть это явление во всей полноте могла только Натаван Фаиг – тоже ЯВЛЕНИЕ, но в культурно-писательском сообществе. Каждая ее работа – это музыка в прозе! Ей и только ей под силу было взять интервью и показать миру таких выдающихся деятелей современности, как Кара Караев, Вагиф Мустафазаде, Йо-Йо Ма, Чингиз Абдуллаев, Сергей Безруков, Мстислав Ростропович… К слову, она единственная из наших журналистов, кто подолгу общался с великим маэстро, который, как известно, не любил давать пространных интервью.

Коснуться творчества всех этих неординарных художников и написать о них мог человек, владеющий всей палитрой красок, тонким, неповторимым почерком и, главное, душой всецело сопереживающий своим героям. Такое может сотворить только человек, обладающий способностью раствориться в том, о ком пишет, «влезть в его шкуру», чувствовать как он, думать как он. Может, неслучайно в книге «Алим» проскользнуло: наше признание, как письма до востребования: требуется время для истинной оценки значимости дара художника.

Прочитав книгу «Алим» и другие работы Натаван Фаиг, понял: ее творчество вне времени и над временем. Она – национальное достояние сегодня, завтра и… навсегда! Она должна стоять в одном ряду с героями своих произведений. Книга-шедевр, книга-памятник художнику-творцу, она бесценна как по фактуре и содержанию, так и по оригинальности и оформлению, а главное – такая книга могла родиться только на высочайшей ноте – ноте Вдохновения! Недаром она была названа лучшей книгой на пространстве СНГ 2007 года, став победителем ежегодного конкурса «Искусство книги»!

Книга эта – как восьмой мугам Натаван Фаиг…

А совсем недавно мне попала в руки последняя работа Натаван – книга о Вагифе Самедоглу «В пульсе межмирья». Трудно описать впечатление от прочитанного, скажу лишь, что изданная к юбилею Народного поэта, она лишь утроила интерес мой к творчеству Натаван.

Ком в горле стоял после каждого абзаца…

Спасибо Анару, предложившему ей эту идею – написать книгу о своем друге. Уходящем друге. Он точно знал, что «потянуть» Вагифа под силу только ей. Листаю и листаю книгу, написанную всего за несколько месяцев, с трудом представляя – как это было возможно? Как вообще можно писать книги – с одной(!) встречи… Тут, думаю, одного писательского дара мало…

И вновь – неординарная подача, дышащая продуманностью каждая страница! Сама же она очень просто «характеризует» свои книги. Просто и объемлюще. Например: «Книга об Алиме – это гимн Жизни. О Вагифе Самедоглу – ода Смерти».

Такова амплитуда, не требующая комментариев…

Таково оно – ее «межмирье»… Незабываемое и неожиданное, как блистательно исполненные ею произведения Бетховена и Шопена в день Памяти Вагифа, в Джаз-центре, где и была презентована книга, ему посвященная. Любимых его композиторов…

Я, признаться, и не знал, что писатели умеют ***так*** играть на рояле…

* * *

Она из тех, кто «пишет мыслями». Нечасто такое случается. Впрочем, не только пишет – вот они, фрагменты наших с ней бесед, больше телефонных. То, что удалось зафиксировать

– на диктофон. Не знаю даже, как назвать его, этот получившийся «жанр».

Пусть будет – «ДНЕВНИК ВСЛУХ»… Без конкретно заданной темы – легко порхая и одновременно глубоко, как это умеет Натаван. Предлагал сделать нормальное интервью для моей книжки – беседу с ней. Отказалась. Наотрез. Два года уламывал. «Не получится, – говорит. – Не могу ответить ни на один вопрос, даже не знаю – кто я»…

– А кто вы?

...Да никто. Честно. В Союзе писателей говорю, что музыковед, в Союзе композиторов – публицист… Так удобней жить – не напрягаешься. За это любят и там, и там. Не кокетничаю, поверьте, – в приоритетах до сих пор не определилась. Да и нужно ли? Пишу о музыке, большей частью. Значит, имею отношение и к тем, и другим. Да и что тут удивительного – не зря ведь они, два эти Союза, находятся в трех шагах на одной улице…

...Я родилась 5 октября – День священномученика Фоки, который, как известно, в народе почитается как защитник от пожаров и как подающий помощь утопающим. Вот они, наверное, откуда, «корни» моего спасательства – чем не обоснование? А если серьезно, есть оно у меня – опекать люблю, защищать. И в журналистику пришла, как сегодня понимаю, из этих соображений – адвокатских.

...О Рафике Кулиеве написала, прослышав о том, что трудно живет («кошку кормить нечем»), хотела, чтобы ему выделили пособие. Получилось, помню, он позвонил мне: «Слушай, у тебя легкая рука…» Мне это понравилось – ну, и пошло-поехало. Показалось несправедливо обидным, что музыка Франгиз Ализаде собирает аншлаги с получасовыми овациями и где – в самом Бетховен-холле, например, тогда как мы здесь слыхом о ней не слышали – написала огромный материал об этом, опубликовала… Дальше был Алим – как это так? На весь мир нас прославил, а книжки о нем нет. Ну, и выдала ему книгопамятник – аж в три кило! Анар, писатель, столько сделавший для нашей культуры, – нападают на него и нападают – неужто больше не на кого?! Надо, надо пойти к нему – так появилась книжка о нем… Яшар Нури – отоперированный с ног до головы – в одно из своих «воскрешений» бегает по сцене, поет, танцует… Выдать Мештибада в таком состоянии сродни подвигу, что на грани фантастики! Ну ,вот и судите теперь – адвокат я или публицист… Кстати, и к Чингизу Абдуллаеву пришла, когда он… Жанр у него, видишь ли, «не тот». Он в то время еще не был Народным. Не люблю регалий – орден на груди отвлекает, лица не видишь...

...Что касается журналистики и писательства как процесса – мне нравится набрести на интересную мысль в себе и поделиться ею с другими – занятно это…

...Фотографии имеют свойство ураганно молодеть…

...Что помешало в жизни? Основательность...

...Интересное дело – о тех, с кем общалась подолгу и плотно, так и не написала. Утонула в море впечатлений и размышлений. Все, что написалось и издалось, в том числе и книги – это результат одной (!) встречи с героем. Одним «выстрелом» их брала…

...Страшно это, наверное, – быть действующей пианисткой. Видеть год за годом превращение твоих розово соблазнительных пальчиков в морщинисто остеопорозно подагристые коряки… Все на той же клавиатуре…

...Мы рождаемся – уже с лимитом – лимитом потерь и утрат – людей, вещей… Разбитых ваз и сердец, коллекцией диагнозов – правильных и неправильных… выпитой эссенции и раздавленных божьих коровок…

...Избегаю ТВ, берегу остатки зрения и стараюсь соблюдать психогигиену. Потому телевизор не смотрю – я его наблюдаю… Animal planet – единственное исключение, смотрю не столько на зверей, сколько на людей. Как они собак в Пенсильвании спасают, как филин проходит «реабилитационный период», как ведут дикобраза (!), сбитого автомобилем, на УЗИ, а петуха бойцового к… психологу, дабы тот откорректировал его «асоциальное поведение, адаптировав к нормальной жизни»… Не в суп его, понимаешь, а... Сорока, что запуталась в ельнике – два упитанных мужика с глубоким серьезом на лице едут спасать ее лапку – успеть бы, а то ведь придется – не дай Бог! – ампутировать… Далее – более. Для свиньи, которая наела избыточный (?!) вес, продумывают специальный рацион и делают ей педикюр… А еще кошка

уличная – о ужас! – покрыта блохами… Ну, а собаки… после них вообще ничего смотреть невозможно. Собачью судьбу по драматизму не переплюнул ни один сериал, даже самый навороченный… Спасают они там их, лечат, моют, чешут, «хорошие руки» для них отыскивают… Одного из Хьюстона арестовали за то, что в его доме валялась консервная банка (от фасоли), – «собачка могла лизнуть и поранить язык»… Из последних сюжетов – одну собаку укусила другая собака. Обе принадлежат одной и той же хозяйке, которую… привлекли к суду, оштрафовав на 2 тысячи долларов. Статья? «Случай крайне жестокого обращения…» Ну, и то, что окончательно «добило», так это летучая мышь, которую отнесли мерить давление… Начинаешь понимать, что это такое – защита прав «человека», любовь к природе и истинная – не подложная – вера в Бога… Я бы переименовала этот канал в «Очевидное-невероятное». Или – в «Планету людей»…

...Язык выучить невозможно. Например – листья жгут. Какой жгут – который медсестры используют? Бедный вьетнамец…

...Болезнь, увечье, инвалидность... Редкий гений увернулся от этого… Недуг избирателен и меток…

...Женщины бывают двух видов – от мужа и от себя…

...Пеку пахлаву, достаю из сердца тепло детства, благоухающее кардамоном, навевающее воспоминания, оживляющие лица… греющие, утешающие… Лучшей психотерапии не представляю…

...Кулинария и творчество имеют много общего. И там, и там периоды кипения сменяет подогрев…

...Я стала ненавидеть самых любимых людей, потому что знаю, точно знаю, что когда-нибудь, рано или поздно – предадут. Смерть ведь тоже измена, покинуть – то же кинуть…

...Я за гендер в парандже…

...Балансирую на сангвинистической грани приятия жизни во всех ее проявлениях…

...Многих удивляет то, что я, вроде веселый человек, пишу некрологи. А все потому, что рядом оно – трагическое и комическое. И даже не рядом зачастую, а – одно в одном! И нет здесь никакой гиперболизации, знаю об этом не понаслышке. Я человек, который в свой день рождения слышит – «Аллах ряхмят элясин»… С самого утра уже слышит… От всех поздравляющих… По 20 раз на день… Или по 50… Абсурд? Просто брат-близнец покинул этот мир раньше меня…

...Мы были настоящими близнецами, не «заказными»… Разнополые, но ведь… Мы были одной душой, а у души нет пола...

...День рождения – тот самый день рождения, который еще недавно был самым счастливым днем, праздник удвоенных радостей – некий 366 день в году…

...Близняшество как проклятье… Оказывается, я смотрела на мир в 4 глаза, ходила на 4 ногах… И не знала об этом. Как не знала, что, придя вдвоем, уйдем по-одному. Мы разные были с ним… Нет, не «небо и земля». Сильно дальше. Из разных галактик энергетических будто… Шестичасовая разница во времени появления на свет, быть может, в том повинна… Непохожие – как обочина и эпицентр! И может, оттого так нуждались друг в друге – он в моем пофигизме (нужная очень штука на самом деле, размагничивающая, дарящая покойный комфорт), а я – в его динамике. Его «завод» – то, чего во мне не было отродясь, он же пребывал в нем безвылазно… Он знал цену каждой минуте, просыпался с петухами (которых держал на балконе)… Торопился вечно куда-то, на часы смотрел. Берег время… Не зря берег, как оказалось… Я же пребывала как бы вне него… А ушел рано, потому что программу выполнил. Досрочно. Рано ее начал, слишком рано – в 15 засел за кандидатскую, в 35 стал доктором наук… Это отец его так завел. Папа был гением педагогики. Правда, меня завести у него не вышло. Так и не увидел ни одной моей публикации, тогда как брат начал печататься с 9 лет. Со мной это не получилось, упертая была. Может, оттого и цела… А первая статья моя вышла в… 41 год…

...Чем тело слабее, тем сильнее оно подчиняет себе… Видела – своими глазами…

...«При виде тебя я как-то особенно радуюсь», – сказал мне брат, ближе к финишу… Ранним знобким утром его не стало – я ведь не знала тогда, что ушли двое…

...Близнецовость – это счастье, если наличествуют оба… После же… Таково было веле-

ние звезд... Жить продолжаю шлейфом… Ресурс восстановления на нуле… Год хромала после него… Так и не поняла, почему припадаю на одну ногу. Три рентгена делала в разных клиниках. Молчит медицина. Впрочем, она всегда молчит… А «брат» от слова «брать». Забирать… Такая вот этимология – на ладошке…

…а ладошки разными стали. Температурно. Сказали – сердце. Проверилась, вроде норма. Сказали – с мозгом связано – на MRT срочно. Вновь осечка. Врачи смотрят на меня, как на гуманоида. Одна рука теплая, другая ледяная. И пятка тоже… Но тут как раз тот случай, когда наша бездарная диагностика не виновата. Единственный, быть может, случай…

...Осталась один на один с собой – в очужевшем городе. В городе безголовых манекенов и оглохших подростков… В наушных проводах…

...Февраль… Самый короткий, самый скоропреходящий из всех месяцев казался мне бесконечным. Это самый долгий месяц в году. Отныне и навсегда...

...Его уход расчленил мою жизнь на до и… до… После – как-то не очень получается… Тоски былой не бывает. Оказывается…

...В мистику веришь, потому что она все для этого делает ! Один только пример – с братом… Его часы ручные остановились в Баку в час его ухода в Стамбуле… Стрелки часов…

...Жизнь как бег в никуда… Пришел 5-го, ушел 20-го… 5, 20… Аванс и зарплата. Или расплата… «Жизнь ничего не дает бесплатно и всему, что преподносится судьбой, тайно определена своя цена»… Цвейг сказал, не я…

...Он остался там. В феврале. В палате… золотистой такой… А потом я вернулась в мой город. Серые кресты подъемных кранов под дождем… Здесь его не было…

...Прорезь утра за окном, мешаясь с сумраком внутри тебя… Комната заполняется ультрамарином... Так я понимаю, что ночь, еще одна, страшная, одна из тех, что поглотила его, ушла. Уступив место дню, от которого не полегчает...

...Не могу стереть его последние письма на мобильнике. Кажется, там есть еще ниточка, которая не оборвалась… Смешные стишки, с дурацкими – из детства – прозвищами-обзывалками… А еще: «Все будет хорошо. Уже мало осталось…» В качестве «утешения»…

...Вселенная приняла решение разлучить нас на время… Придем ли мы еще раз? Вряд ли. Звезды должны сойтись в нужной комбинации…

...Вздрагиваю от своих же стонов – наяву. Всякий раз оборачиваюсь – кто это?

...Сосущая под ложечкой неопределенность… Заморозь памяти… Адекватно откликаться на жизнь все сложнее… Чувствую себя главврачом психбольницы, где единственным пациентом являюсь я... Заново училась есть, пить, спать, думать… Так и живу, отдуваясь за себя и за того парня…

...Еще не раз будет 20 февраля – без меня… Без моего стона…

...Чем ближе окно соседа, тем меньше тепла…

...Литературный шок – я его испытала. У Леонова Леонида – помните? «Она еще не знала, что уже умерла»… Про меня будто… Это он про сосну, только что срубленную…

А Расул Рза, с его – «Od nə çəkdi, küldən soruş!»

Когда я впервые услышала это, у меня перехватило дыхание...

«Расул Рза – новатор…»

Od nə çəkdi… И это – «новаторство»? Да ведь это – апокалипсис!

Тема восприятия искусства вообще – одна из малоизученных. Знала о том, что при просмотре фильмов Тарковского начинает давать сбой вестибулярный аппарат, а на концерте Алима Гасымова за рубежом дежурит бригада скорой помощи...

Искусство – оно ведь и убивает. Человек живет себе и живет, и вдруг… Кто-нибудь когда-нибудь подсчитывал, сколько инфарктов на «совести» бетховенской «Аппассионаты», последней симфонии Чайковского, или того же «Титаника»? Ну, если и не инфарктов, так царапин на сердце… ощутимых таких… А «Подсолнухи» Ван Гога, у «подножья» которых продолжают терять сознание туристы… Энергетика цвета, говорят, там особенная…

Od nə çəkdi… – из того же ряда – по своей сотрясающей силе. Такое вот «повреждение» души. «Что испытал огонь – спроси у пепла»... Не знаю, насколько правильно перевела с точки зрения градуса…

Od nə çəkdi… Это философия восточного мудреца. Формат баяты-мышления, способность, – нет, дар! – думать «за пределами границ»! Выдать такую строку и – где? Посреди свистопляски казенщины и принудиловки, посреди догматов вульгарного социализма…

Расул, в принципе, мог бы больше ничего и не писать… Достаточно одного такого кялама, и ты становишься приверженцем его изобретшего – раз и навсегда...

Строка, словно вцементированная в тебя…

«Od nə çəkdi – küldən soruş…» И вновь – про меня…

...Зима грядет лютая… Несущая смерть октябрьским котятам…

...Персюки, тираны, попиратели женских прав… Но ведь – Лейли и Меджнун, а не наоборот, в отличие от супер-гендерной Европы, с ее Ромео и Джульеттой, Русланом и Людмилой – и проч. Приоритеты, как говорится, налицо.

...Ад, рай… Верю во все это. И не потому что набожна – прошла ЧЕРЕЗ. Клиническая смерть – распространяться не буду о почти сюрных деталях мира высших энергий, скажу лишь о том, ЧТО понравилось – там не получится затеряться в толпе. Не пройдет такое. И с каждого свой спрос. И это – огромный плюс… Как не стать мистиком после этого всего…

...Сегодня на маникюр идем как давным-давно на динозавра или не так давно под танк – я говорю о риске подвергнуться вирусу. «В жизни всегда есть место подвигу» – Горький оказался прав – даже на бытовом уровне. Нынче сырого яйца боятся больше – сальмонелла! – чем когда-то Гитлера…

...Мозги развить нельзя. С ними нужно прийти…

...Любимый афоризм? От Имама Али. «Не напрягайся ради других и помни: никому не дано несчастного человека сделать счастливым»… Это – выстраданное… Впрочем, на эти грабли многие наступали…

...Люблю писать в «початых» папиных блокнотах – в них, пожелтевших, мысль идет умней… Даже если там – про уборку зерновых…

...Просматривала недавно отцовский фотоархив: Боже, типажность какая! Караев, Джевдет, Расул, Нигяр, Рашид, Амина Дильбази, Тогрул, Саттар, Фикрет, Мирза Ибрагимов, Сярвяр Ганиев, Мехти Мамедов, Кямал Ахмед, Расим Оджагов, Ниязи, Вагиф… Никто ни на кого не похож! Оттого и мемуарствую со страшной силой…

...Люблю их всех, азербайджанских гениев. Не надоедает на них смотреть.

Это – Расул. Взгляд у него какой-то недоуменный – так смотрят дети. И философы. С абсолютной жизненной чуткостью… Чтоб в черно-белом фото так явственно просматривался васильковый взгляд…

Это – Фикрет – с уникальным строением головы – прямо-таки космическим лбом и проникновенным взором – само воплощение толерантности!

Это – Ниязи – с его фантастической харизмой, человек-магнит, способный одним лишь «взмахом» брови отдирижировать «Увертюрой» «Кероглу»!

Это – Вагиф – с бесконечно обаятельной улыбкой и неистребимой грустинкой в глазах – глаза человека, знающего, что умрет в 40 лет…

Это – Кара – с пронзительным взглядом – на тебя и сквозь тебя одновременно. Так смотрели наши интеллигенты – взгляд Узеирбека и Джаббарлы…

Это – Мирджавад – исполин, который душил смотрительницу Эрмитажа за то, что она не пускала его к Сезанну, боготворимому им…

Это – Саттар… Помню его, бредущего с жалкой котомкой к себе домой. В районе Олимпа. Фактурой он напоминал тех, кого сегодня аббревиатурно называют… Ну, в общем, бездомных…

...Я слишком долго живу…

...Что такое написать книгу? Идущую потоком, всегда хаотичным, мысль упорядочить и сделать это максимально убедительно. Вот и все! Но – как же это непросто… Ноги почему-то начинают болеть... Иногда чувствую себя рабочим на выгрузке цемента… К концу дня я практически недвижимость. Может, это оттого, что не профессионал я…

...Конфликтные и бескомпромиссные всегда окружены толпой, тогда как дипломатичные и миролюбиво тактичные почти всегда одиноки…

...Бессонница – это когда мешают локти, колени, копчик, уши… Когда – всего два бока, а третьего нет…

...Детство… Время, когда могилы Фэхри хиябана были редки – все гении наши были еще живы… Сегодня там присутствует некая мудрость, которая шепчет – точнее, кричит – о многом. В том числе о том, что они больше – не придут…

...Лессинг «Лаокоон», Еврипид «Трагедии», Гессе «Игра в бисер», Фолкнер «Деревушка», «Карамазовы» Достоевского, «Убийство Моцарта», Кобо Абэ, Пастернак, стихи Вазеха… Я, 8-летняя, засыпала, визуально перебирая корешки книг, что напротив меня – спала в папином кабинете. Такой вот еженощной «обход» гигантов мировой мысли, безусловно, многое дал, но и многое забрал, сделав впоследствии тупость вокруг нестерпимой, а духовную убогость – непереносимой... Заодно одарив комплексом неполноценности, максимально занизив самооценку. Писать начала – под занавес жизни…

...«Сундук Боденштедта» – все детство мы с братом прождали, когда же его, наконец, вскроют, этот сундук – отец всю жизнь болел Вазехом. Даже повесть о нем написал – «Я к свету шел»… «Боденштедт». Помню, как в классе четвертом или пятом я выстрелила этой фамилией в лицо обалдевшей литераторши, тщетно силящейся вспомнить ее – от меня, середнячка, такого не ожидал никто! А все потому что «Боденштедт» звучало в доме куда чаще, чем Ленин. Или Брежнев...

...Он не верил в школьное образование и не подвергал нас ему. Считал, что это пустая трата времени и кроме инфекций оттуда приносить нечего. Учились мы дома. У него.

...Отец… Ни за чем не гонялся, жуков любил, а еще дворников… Помню, как плакали они, дворники, когда его выносили со двора… «Он моему сыну помог»… «Моему зятю»… «Моей дочери»… А мы даже не знали об этом… О его непрактичности один только факт – удивительно, но он, встретившийся со всеми гениями эпохи – со всеми, кто делал славу XX столетию – не только азербайджанцами – проработав в «Советской культуре» с четверть века, и… И – ни одной фотографии ни с кем из них! Хоть бы разок с кем заснялся – в голову не приходило «ввинтиться» в историю. Мне приходило. И не раз. Не из-за истории, нет, а как доказательство того, что «то был не сон» – все чаще сегодня кажется, что все это мне приснилось. Все эти встречи…

...Папа вспоминается по-разному, и всегда – с улыбкой. Удивительно уютное биополе было у него… Вот он смотрит, сидя в любимом кресле, телевизор. Неожиданно из нагрудного кармана его рубашки вылезает желтая головка цыпленка, который отчаянно пищит. Папа осторожно пальцем «задвигает» его обратно, приговаривая, что если он будет продолжать мешать смотреть «Хеберлер», то «я отнесу тебя обратно в твою коробку». Невероятно, но цыпа замолчал – то ли вспомнил ненавистное обиталище, то ли еще почему... Отец умел убеждать…

...Машиной он почти не пользовался, шофер был практически в круглогодичном отпуске. Отец вообще транспортом не пользовался. Ходил только пешком – других вариантов не существовало. Даже на дачу – правда, всего один раз. Сказал, что «по времени невыгодно»…

...Недавно встретила одного знакомого, «большого начальника». Зеленый какой-то, руки дрожат, на сердце жалуется. «Ходите пешком, – советую ему, – вы же практически не двигаетесь. Ну, или хотя бы отпустите шофера за пару кварталов до дома…» Он смотрел на меня, смотрел, а потом говорит: «Это невозможно. Соседи подумают, что меня сняли…» И полез в карман за таблеткой… «Очень вырос в целом мире гриппа вирус – три-четыре!» – пел Высоцкий. Сегодня бы он пел про вирусы совсем другие...

Я и отец видели разный мир – хоть жили под одной луной. Он жил в стабильном мире, я бы даже сказала, скучно-стабильном. Где-то там, в непроглядываемой дали хулиганил Пиночет и пара-тройка ему подобных – вот и все! Ну, а крушение самолетов, если и случалось, то где-нибудь в Гонолулу, не ближе. Сегодня же они падают и падают… И ураганы со смерчами летали исключительно над капстранами. (Все-таки социализм – мощная защита от стихийных бедствий, как ни крути)… Отец видел певцов, а я их депутатство, он видел свадьбы людей, а я их развод… Он видел, как Фокс выбрасывает из окна официантку, а я – как он выбрасывается сам… То, что он видел в зачатке, я увидела в развитии, в том, о чем он лишь предполагал, я убедилась в полный рост. Отец видел венценосного Брежнева, которого носили на руках

в прямом смысле, а я его правнучку-бомжару, радующуюся найденной кильке в мусорном баке… Он видел борьбу с чадрой – я за чадру… В его время дарили дачу, но не давали сдачу, сейчас – все с точностью до наоборот… Парламентствующая Зейнаб, морализирующая Флора, мертвый Муслим… Отец восхищался «Гранатом» Тогрула, дружил с ним, я же стала свидетелем леденящих душу разборок по его захоронению с позорными судебными разбирательствами… Он видел новорожденного брата, а я его могилу… Мы оставили отцам иллюзии, они нам – реалии… Он видел парад Победы, я – парад планет… Он к свету шел, а я – к концу света… который почему-то не наступил…

...Отец дал-таки мне удочку вместо рыбы – удочку, которая если и не кормит, то определенно дает радость жизни, распирающую полноту Бытия. И еще – счастье НЕУМЕНИЯ скучать, незнания скуки…

...Самый счастливый день – 13 мая. Папа еще жил… Целые сутки!!!

...У меня с ним пуповина была, она не отпала до сих пор…

...Черные, белые, желтые… Все мы – люди. И делаем одно и то же, как бы нам того не хотелось. Разве что француз «Р» спрятал, испанец – выпятил…

...Как-то делала намаз и чувствовала, что меня слышат как никогда! Явственно так… Не сразу поняла причину – в соседней комнате звучала «Аве Мария» шубертовская… Незабываемый был момент. Как молитвенный посыл… Момент истинной истины…

...Вторую роль люблю – ту самую, которая всегда первая. А вообще по жизни предпочитаю самотек – жить надо как живется. Без протеста. Как подталкивается сзади. Богу виднее, куда меня, кому меня… Вряд ли придумаю лучше, чем Он. Уже хотя бы потому что Он придумал меня. Не люблю целенаправленность в людях – она всегда смешна. Таким не то что не верю – я их боюсь...

...«Фата» – от фатальности, что ли…

...У психически больных всего один плюс, за душой, но зато – какой! Они без страха покидают этот мир…

...Родина понятие всегда эмоциональное… Для меня Баку – это ТО, о чем говорят пальцы Вагифа Мустафазаде в его шедевральном «Baki gecələri» – золотое свечение, исходящее от экспромта... Согревающее такое… Пьеса про то время, когда вокруг все были такими молодыми… И иными – психофизически… Теплые бакинские вечера с перестуком нардистов – стучат-не настучатся… Мамин халат, пропахший ванилью… Вот так вот взял и нарисовал мое детство – клавишами…

...Когда человеку чего-то не хватает, значит, у него это уже когда-то было…

...Женщине не доверяю – слишком много у нее биологических заморочек – то она созревает, то перезревает. То у нее климакс, то токсикоз, то морщины, то мужчины… Теряется сущность личностная за всем этим. У мужчин все гораздо проще – конструкция проще, изначально природная. Предпочитаю иметь дело с ними. Настроение их не столь вариативно, а значит – предсказуемо...

...В диеты не верю. Организм – существо хитрющее, пугливое, запасливое… Проглотил огурец с укропом, а он его – в жир… Опять же – с целью твоего выживания на этом свете… По другому не может, и слышать ни о чем не желает…

...Зависти не знаю. Да и кому и чему завидовать – самые лучшие родители, самый лучший брат, самый лучший муж, самый лучший сын… Руки-ноги на месте, вижу-слышу-дышу… Чего ж еще желать? Бога только благодарю, ни о чем не прошу – у него и без меня вон сколько «жалобщиков» – стенают, молят, выпрашивают… Сколько он может видеть обращенные к себе лица – в слезах-соплях? Ну хоть бы кто улыбнулся в благодарностях…

...Ум никогда еще не был синонимом счастья, как и мудрость – успешности...

...Личностей все меньше. Биомеханические роботы вокруг. Знаешь, что скажут, еще не войдя, знаешь, что ответят, знаешь, как посмотрят… Пленка – на всех. Ни одного своего лица…

...Почему не защитилась? Ну все спрашивают. Смысла не видела. И не вижу. От кого защищаться? Никто ведь не нападает. Мой единственный враг – я. И потом не так уж это сложно – с полгода напряга, и ты доктор наук. Это если самому писать… А так – есть куда сложнее дела… А другим писать «помогала». Правда, они при виде меня почему-то переходят на дру-

гую улицу… Да и потом – отдать всего себя науке еще не означает осчастливить ее…

...Если хотите узнать цену жизни, понежиться в ее божественных облаках – послушайте «Аве Марию» в исполнении Лары Фабиан и Грегори Лемаршаля… Мальчик, который, имея всего четвертушку легких, всегда пел вживую. Без фанеры… Его уже нет…

...Школьное время… Время, когда фамилия учительницы Фельдблат не вызывала никаких коррупционных ассоциаций. А шприцы – не медпунктных. Боже, как мы были чисты!!!

...Реклама на ТВ. Песенка про макароны или туалетную бумагу… Кто-то ведь создает эти и другие всемировые образцы песенного похабства… А еще «нравится»: «Для тех, кто любит собственные зубы!» Не помню, где вычитала – «реклама убивает мозг». Как не согласиться…

...Наши звезды, рожденные потомственными колхозниками, говорящие об элитарном образе жизни… Послушать нынешних – так все они вышли из «графских семей» – в основном те, кто с туманным происхождением. Нувориш, возомнивший себя элитой… Нет зрелища печальней… «Князь маркет», «Гальянхана VIP», «Аристократ» – в Сабунчах, парикмахерская «Авеста» (похоже на «невеста», очевидно)… А еще – вилка «ПрИстиж», «Йумурта «Эксклюзив»… С людьми все ясно, разобрались, но яйца… Петух, что ли, снес… Ну ,да ладно. А еще «понравилось» – магазин женской одежды «Dəhşət» – для Бабы Яги, видать… Это надо было очень постараться, чтоб в XXI век придти столь дикими…

...Ходим, рекламно гламурные… Жизнь сегодня строится на трех «китах» – спальня, кухня, туалет. Так называемых базовых потребностях человека. Так оно, скорее всего, было всегда, просто не выпячивалось приоритетным креном. «Утенок» для унитаза, потеющие подмышки, пятна на коврах – реклама буквально дышит всем этим… Особой тренировки духа не наблюдается. «Ведь вы этого достойны!» ...А вот интересно – что бы подумал гуманоид, никогда не видевший человека и увидевший рекламу на ТВ? Вонь изо рта, грибки на ногах, памперсы-прокладки, перхоть… И вообще, что такое человек, я поняла после появления этой самой рекламы. Компромат на человека…

...Ворчу, ворчу… А ведь дело все в том, что я застала его – стык ценностей. Вернее, их несостыковку… Еще недавно героями телепередач были люди искусства, режиссеры и поэты, сегодня же экран заполонили одни парикмахеры и педикюрши. Сплошь массажисты и терщики местных «мега-звезд»... Визажист – он и вовсе персона нон грата, дающий интервью с утра и до вечера. Эти бесконечные репортажи из салонов красоты… Если и дальше так пойдет, сюжеты будут из прачечных, а там, глядишь, общественных туалетов…

...Не родился еще тот, кто бы не разочаровал. Одно утешение – лет через 30 ни одного подонка на земле не останется. Из пинающих, отнимающих, обдуривающих, подсиживающих, нападающих, воюющих… Правда, мне уже это будет фиолетово…

...Сколько их, сотрясающих кулаками, видело это Небо…

...Воспоминания… Держусь за них обеими руками. Люблю старые скатерти – напоминание былых радостей, былых дат… Да, чуть застиранные, чуть немодные… Свидетели застолий – с теми, кто больше никогда к тебе не придет… Смех их «слышишь», «видишь» приподнятое настроение… И как апофеоз – бабушку с вкусно дымящимся блюдом в руках. Подающей плов-говурму-долму-гюрзе… Ну и, конечно, собственноручный ее торт – на два стола – да такой, что ни у кого рука не поднималась его резать! С башней Девичьей, морями-кораблями да райскими садами… Она была художником, только не знала об этом…

...«Нельзя» – волшебное слово, без которого не было бы… Да много чего не было бы. Любви, например. Я говорю о великой любви. Ведь именно в отсутствии сегодня «нельзя» нет ее – то, о чем мы так любим посокрушаться. А еще не было бы без него великого Искусства. Мытарства придают смысл жизни художника. Я почему-то уверена, что не будь Бетховен глухим, мы бы лишились той самой высокой проникновенности в его музыке. Боль – вот что делает жизнь пронзительней, а духовные проявления – выше!

А книжки писать стала не от хорошей жизни – «болтливая» чересчур, ни в одну газету не умещаюсь, ни в журнал…

...«Только живая елка – другую не признаем!» То и дело слышишь накануне Нового года. Какая ж она «живая»?! После того как ее…

...Сериалы – плюс в них есть. И немалый – они вытащили на всемирное обозрение сущ-

ность женщины как таковую – ту самую, звериную, которую мы так тщательно прятали за цветами и луной. Уверена, снимающие их – женоненавистники. Это творческая месть...

...«Бог забирает лучших – добрых, благожелательных, сострадательных»… Молодых, кто исчерпал лимит доброхотства, пройдя тест досрочно... Перестать кормить кошек, что ли…

...Ну кто сегодня думает? Майонез Махеев? Или сковорода «Тефаль»…

...Мудрость и глупость. Добро и зло. Уродство и красота. Зря мы их расчленяем, пытаемся дифференцировать. Смысл их – в «созвучьи». По утрам просыпаюсь от птичьего гвалта – неистового такого, в котором явно доминируют два «солиста» – ворона и соловей. Ворона, понятно, перекрикивает (читай: перекаркивает), да и «партия» у нее явно больше (апломб, однако), но… Именно в этом «аккорде» видно – кто есть кто! Так осужденья теряют все резоны – именно контраст дает пищу для верных выводов и оценок. Не бойтесь ворон – они нужны для саморазоблачения.

...Нужно иметь, чем себя проснуть. Этакая таблетка от депрессии. Для кого-то это счет в банке, недописанный холст или сладко посапывающий дитенок в люльке-коляске… Любовь не в счет – это средство не долгоиграющее…

...Любовь нужна. Очень нужна. Если он не влюбится, а жена его не застукает – режиссер со сценаристом помрут с голоду… Ну, еще – чтоб детки шли…

...Главный вывод жизни – нет в ней ничего такого, о чем, совершив, не пожалел. То есть, сделал или не сделал – пожалеешь в любом случае…

...«Редколлегия»… Смешно. Главную книгу – КОРАН – создавали без редколлегии…

...После молнии гремит гром. Единственная, пожалуй, в этой жизни закономерность, которая – работает. И то не всегда…

...Раньше проблемы были космические, нынче – косметические. Разница как между ракетой и бородавкой...

...Сегодня у кого больше гаражей, тот и «гаражанин»…

...Меня сгубила моя неодномерность, стремление все полифонизировать. А еще – умение видеть 2 стороны медали. Точнее – 22…

...А умная оттого, что избыток йода в организме – он, говорят, отвечает за интеллект…

...Хороших – видела! Неправдоподобно хороших – будто налетела на столб, до того хорош! Немного их было, еще точнее – один… Спасибо ему за все!

...Недавно подписала какой-то документ. Справку. И сама удивилась поставленной дате – 2015 год. Удивилась, что столько живу...

...Когда-то Микеланджело сказал, что его искусство многих сделает дураками. Вчера весь вечер слушала Алима. Слушала и понимала, что не понимаю уже ничего вообще… Про Алима, что ли, сказал… Или про меня – дурака…

...Не нужно создавать чадам счастливого детства. Они станут заложниками этого прошлого – ностальгия по розовой ванночке отравит им всю будущую жизнь. Будущее, которое у них не будет...

...Одна из страшных потерь – уход Рихтера…

...Цыгане пишут друг другу эсэмески… Цивилизованность и культурность вещи разные… Хотя… Цыгане дали миру, например, Вишневскую, Кэтрин Зету Джонс и Максима Фадеева – я говорю о генах, которыми они их снабдили. И это помимо «Очей черных»…

...В моем детстве было три рая – дом деда в Крепости, Гейгель и Шуша. Ни одного нет… Сын их так и не увидел…

...Счастье – это отсутствие вынужденности... А еще – боли…

...Женская загадка… Да нет никакой загадки. Та, что с мужем, грезит о любовнике, любовница – мужем. Стабильная мечтает о романтике, раздрайная – о покое…

...И снова Новый год… И вновь мы в ожидании бенефисов – гаджибековско-рязановских в диапазоне от Мештибада до Лукашина, с промежуточным «Ахмедом хардадыром». А впрочем… И там, и там на тему «О олмасын, бу олсун». Не Гюльназ, так Сенем, не Галя, так Надя…

...Люблю свободных. Несвободные порядочными не бывают...

...Люди приходят и уходят. В том числе умершие. Как-то вдруг исчез из моей жизни Ка-

балевский – все мое детство царил в нем…

...У нас в роду девочки не рождаются. Я одна пролезла. И то случайно…

...Творчество – та же амбиция. Каждый вытыкается в меру своего разумения. Вопрос лишь планки…

...Проблемы у всех одинаковые. Моих нет ни у кого. Во всяком случае, у тех, кто вокруг меня. Такой вот эксклюзив. Потому и посоветоваться не с кем...

...«Онун пулу чох олсун, дэрди-гями аз олсун»… А разве так бывает?

...Смотрю вокруг и понимаю, что когда-нибудь к каждому из них – к имени – приставят ряхмятлик. В том числе и мне – если заслужу такое, конечно…

...Никогда не прощу себе невстречи с Муслимом и Айтматовым… Настолько реально это было… В шаговой доступности…

...В молодости вешают ярлыки, в старости – ордена. Кому их показывать? Богу они не нужны – там иные «пропуска»…

...Люблю свой день рождения, потому что в этот день изобрели шариковую ручку, а ненавижу, потому что в этот день ушел Стив Джобс...

...Дурак мыслит оригинально, потому что у него знаний нет...

...Я заметила, в центр города рвутся провинциалы. Горожане без ропота едут на окраины. Исхожу из своей семьи. Родилась в Ичери Шехер, когда переезжали на Проспект Нариманова, – то был конец географии, там шакалы выли по ночам… Потом была степь под названием Гянджлик-Монтино… Хорошо, что жизнь кончается, а то следующими точно были бы Говсаны с Алятом…

...«Видеть цель, верить в себя, не замечать препятствий…» Именно так и делала. О чем жалею… Надо было замечать...

...Смысл жизни? Тут все просто – впишись в Космос!

...Вчера чайхану увидела – «МонО Лиза»… Есть еще – «Бермуда»… Ну и верх креатива – «Крал чай еви». С трудом представляю себе короля в чайхане, но тем не менее… Одно из последних удивлений – шашлычная «Вивальди»… Не знала, к стыду своему, что великий итальянец был приверженцем люля…

...Борьба с разными мешающими факторами – это и есть жизнь, по сути… Что до нервомотов – в них никогда ведь недостатка не бывает… У меня нет врагов, потому что я ничего не хочу. Враг появляется тогда, когда – Хочешь, потому что он тоже Хочет. И зачастую именно то, что хочешь ты...Счастье – это когда ты ни к чему не привязан…

...Я никого никогда не теряю, не хлопаю дверьми, не отрекаюсь и не зарекаюсь. «Никакой поворот не вечен» – прав был Петрарка. И это – видели...

...А комары не боятся землетрясения… Как бомж – девальвации валюты…

... Каждое утро становлюсь перед собой на колени – умоляю не бросать писать. Не потому, что человечество этого не переживет. Опостыление… Самое страшное, что может с тобой произойти. «Не выключайся, протянись!» – ору себе в ухо, все больше понимая Высоцкого. Вернее, его коней…

...Ранняя смерть имеет один непреложный плюс – тебе еще не успело опостылеть ВСЁ! И ВСЕ! ...Жизнь наша, мониторная… Кончились цвета, краски, запахи. Фотошоп и фотошоп… Эрзац жизни… Лязг бельевых веревок поутру заменяет пенье птиц, а грохотный в ночи спуск в тоннель автомашин – шум океанического прибоя… Днем природные ассоциации отсутствуют. Днем все живое спит. И даже наша проекция на него…

...Один вред от этих высоток – сколько народу с них повыбросилось…

...Где он в нас, орган, отвечающий за зависть? Хирургическим бы его путем, как аппендикс…

...Молодость… не уважаю ее. Именно в эту пору закладываешь основы будущих бед, которые, суммируясь, и становятся твоим крестом…

...Меня нет в соцсетях. Не знаю даже, как регистрироваться. Общаться не люблю. Ощущение такое, что все, что мне могли сказать, уже сказали. Посему – зачем? Обременительные контакты, крадущие время и нервы…

...Творчество – это то, что удается сделать между дурацкими проблемами. Или не уда-

ется. Потому что дурость всегда побеждает важность…

...В журналистику пришла методом исключения – оказалось, что кроме этого мало что умею…

...Счастье – это идти на поводу естества…

...Генетика, наследование способностей и увлечений… Вранье все это. Сын у меня… летчик. Пилот. И где же она – преемственность? Что же он не унаследовал мою боязнь высоты? Да я лампочку не прикручу – до того страшно… И у мужа в родне вроде гагариных не было. Промахнулся старик Мендель…

...Надоело удивлять. Не знаю почему, но так оно – с самого рождения… Последним был анестезиолог, который никак понять не мог, почему наркоз меня не берет…

...Мы по жизни делаем добро совсем не тем. Те же, кто отдал нам многое, как правило, остаются обделенными нами… Есть, есть такой парадокс…

...Хотела б иметь 3-4 организма – запасных, чтоб экспериментировать на них. И проблемы с дыханием решила бы человечеству, и от цирроза нашла панацею, и от Эболы спасла…

...Так и не научилась жить, придушив совесть…

...Надоело быть сапером. Хочу стать миной. Миной, что взрывается, не задумываясь о последствиях… Хотя знаю – вряд ли получится. Замес не тот…

...Отсутствие сюсюканья не есть хамство...

...Врач – профессия диапазонистая. Он тот, кто передает больного Азраилю, и он же, трансформируясь в Христа, несет исцеление…

...«Я крепостная» – помню, как развеселило это мое признание российского посла Владимира Дорохина, вручавшего мне премию, – оказывается, там есть иные смыслы… А на крестьянку, говорят, я не тяну…

...Старость дело перспективное. Для пластических хирургов, например...

...Так ни в ком и не разочаровалась. Не потому что ангелы одни попадались на пути. Просто ожиданий не было изначальных – моих предварительных ожиданий...

...В смысле еды я космополит безродный...

...Моя успешность – в умении жить в ущерб себе. В небоязни проиграть...

...Я была октябренком, но только потому что родилась в октябре… В комсомол так и не вступила – не из принципа, нет, просто не могла понять, что это такое – демократический централизм… А в пионеры принималась под нэнэшкин Kəlmeyi-şəhadət – она стояла в сторонке и шептала молитву, чтоб я не запнулась на клятве… в Музее Ленина сие происходило… Никогда еще безбожие не было столь высоко…

...«Azad bir quşdum»… Помню, как бабушка пела, негромко так, задумчиво раскатывая тесто… Только сейчас поняла, что пела она про себя… Просто не знала об этом. Про своих детей, столь рано ушедших… и внуков, ушедших еще раньше…

...Нахожусь в замечательном временном отрезке жизни, когда боязнь возраста сменяет радость конца... Самое главное – не дать неглавному съесть главное…

...«Хватит тебе философствовать», – слышу то и дело. Не понимают, что это как таблетка. Нитроглицерин…

...А шансы я теряла. Не шансы – Шансища! По недалекости. Потому и не хотела бы прийти еще раз – не одна бы ведь пришла, все с той же глупостью…

...Дети это то, что убивает. Я бы перефразировала: «Я тебя породил, ты меня и убьешь».

Плохое дитё вымотает тебя своими проделками-выходками, загнув раньше времени, ну, а хорошее… Ты умрешь от сострадания к нему. От сочувствия. Потому что к хорошим людям мир всегда перпендикулярен…

...А по жизни я Бузыкин – помните из «Осеннего марафона»? Любимый мой фильм с юности – просто я не знала, что Данелия снял его про меня. Даже стилистику преподавала, как главный герой. И тот же круг замкнутый, и неумение говорить НЕТ, и умение писать за других... А датчанина со стадионом с успехом заменил муж… Никогда еще искусство так не сливалось с жизнью…

...Обожаю старые азербайджанские фильмы – бесконечно могу смотреть на этот город – без машин, домов и людей…

...Утро – время несомненно чудесное, но опять-таки, смотря для чего проснулся. Кто-то ждет рассвета, чтоб начать отстрел щенков…

...Что удивило? Ой, много чего. Например, гора мороженого, съеденная Алимом Гасымовым в ночь накануне его отлета в Париж на собственный юбилейный концерт. И – никаких привычных для вокалистов озабоченностей на предмет оберегания связок и т.п…

...Армяне, что проживая на Карибах, грезят Гарабахом…

...Ступила на тропу войны – войны организма с диагнозами…

...Талант и оценка его – насколько они совпадают в реальной жизни, иллюстрирует такой вот факт. Друг мой, из Торонто, рассказывал: в Канаде провели конкурс на лучшего исполнителя – лучших скрипачей, виолончелистов, альтистов, с их инструментами стоимостью в миллион, – послали играть в переходах метро. Так никто не дал им ни гроша – никто! Никто не убавил шаг, не заслушался… И вот мне подумалось, воскресни сегодня Низами, – никто не придет на вечер его стихов. То есть, придут, конечно, но стадионы он точно не соберет… В отличие от Гарачухурлу, к примеру…

...«Кролик в духовке» – ни за что не смогу съесть блюдо под таким названием… Или – «Отбивные из куриных сердечек»…

Хотела бы усыновить кого-нибудь – еще одна мечта, которая грозит быть похороненной… Родить своего – легко, а вот чужого…

...Ну на что только не идут, чтоб завоевать мир… Хотя по мне – сегодняшний мир, с его цунами, вулканами, торнадами и Фукусимой – и завоевывать не хочется…

...А интересно – каким был астропрогноз для японцев накануне их землетрясения вкупе с цунами – для всех одинаковый? И для львов, и для скорпионов с раками-собаками?

...Молодо выгляжу. Проблемно это – не соответствовать, мучительно. Про себя уже финиш чувствуешь, о душе подумать хочется, а выйдешь из дома – и все напоминают тебе, что жизнь в разгаре...

...«Пулун вар – гялярям» – это Телли говорит. Ультимативно так. Бекская же Гюльчохра идет за никого. И в никуда...

...Люди не бывают хорошими или плохими. Они всегда такие, какими ДОЛЖНЫ быть...

...Я была ангелом, а потом стала человеком. Как все. И людям это почему-то не понравилось. А я просто вступила с ними в отношения – те самые, в которых они друг с другом пребывают...

...Слезы… От этой железы я избавилась. Вернее, она сама атрофировалась…

...Мы в семье были все такие праздничные – я с братом родились в День учителя, папа – в День Независимости, ну, а мама – в день борьбы со СПИДом…

...Что такое гений? Кто такой, точнее… Гений – это тот, кто, имея в наличии известные неудобства, располагает огромным числом преимуществ, главное из которых – вожделенное изгойство...

...Кто такой изгой? Человек, который не обязан думать о том, что надо переходить из формации в формацию, а еще – глобализироваться, интегрироваться...

...Интеграцию каждый ощущает по-своему. Для меня она – в появлении в кухонном обиходе покупных ярких тряпочек, избавивших народ от нарезки старых трусов...

...Ну кто сегодня думает о солнце с луной? Разве что в контексте магнитных бурь. Кто думает о восходах-заходах? Куда как чаще – о расходах-доходах…

...Люди похожи на тараканов, которых травят. Только в роли дихлофоса – житейские неурядицы, бытовая неустроенность, несправедливость, имеющая место или (чаще) мнимая… Некачественные продукты, плохая экология, наконец… Вот и ищут щель, чтоб, юркнув в нее, уцелеть. В роли щели – теплый офис, сулящая перспективу учеба за рубежом, спонсор, взятка, дайдай, депутатство, «крутой» любовник…

...Африкян и Чобанян – древние армянские фамилии…

...Что такое внешняя красота? То, что обязательно уйдет. Даже любимый человек может не уйти, а удачная внешность – это всегда предательство. В этом смысле некрасивым повезло больше – как можно потерять то, чего нет? У них на одну драму меньше...

...Бороться с миром или соглашаться с ним? Конечно же, соглашаться – он идеален!

Единственная «корректура», которую бы я все же внесла – накинула бы часиков 5-6 суткам. Или уменьшила втрое время для сна – мы слишком недолго живем, чтоб столь расточительно позволять себе эти «мертвые часы». Впереди нас ждет бесконечный мертвый час, безрегламентированный, – небытие. А еще б хотелось, чтоб гепард не разрывал жирафу…

...Что такое цивилизация? Это достижение больших высот в области пятновыведения, носоотрезания, нитратоотравления…

...Не люблю ухоженности – у людей, садов… В заброшенном саду есть мистика, в человеке – загадка. Вернее, отгадка. Судьба… Ухоженность – всегда очковтирательство…

...Самое неприятное в написании книг – страх, что может умереть ее герой. Или ее автор...

...Обидчивость как способ нападения. Террор своего рода. Боюсь их, ранимых… напрягают...

...Провинциальные традиции, вступившие на асфальтовую городскую стезю, перевернувшие устоявшееся… Наречение дитя – одно из них. Они там от перенаселенности вынуждены изобретать имена отпрыскам, вот и креативят как могут – Гюльфирдун, например, яблоки во дворе у нас продавал, – симбиоз Гюльнары и Фиридуна. Или – Нафиг для рифмы с братом Рафиком. Кстати, очень удивилась, услышав недавно татарское имя Нафигулла – это стык языков так подкузьмил…

...Обессмертить любовь может только смерть. Физули с Шекспиром когда еще об этом догадались…

...Для чего нужна художественная литература? Для утешения. Читаешь, и понимаешь, что такие, как ты, со своими проблемами – были и будут. Анна Каренина, например, со своим поездом – ты ведь до этого не дошел… Пока.

...Люблю начало лета. И не люблю его конец. Запыленные деревья, серая земля. Уставшие кондиционеры, в астматическом приступе выплевывающие на улицы мокроту, – со всех сторон… Переждать его надо, дождаться благословенного сезона – бабьего лета, которое кажется вечным… Бабье лето… Странно, самый короткий сезон у нас – самый продолжительный. Может, оттого наши женщины за 40 долго остаются цветущими…

...Трудней всего бороться с мелочью – пылью, тлей, перхотью, блохой… Это то, чему всегда проигрываешь…

...Форум… Сегодня это слово означает совсем другое, на нем матерятся, например…

...Если говорить о плюсах того времени… Шостакович учил Караева… Причем бесплатно! Уже за это одно прощаю Ульянову амбицию...

...А так – семантически не сильно все поменялось: ура – аура, Аристотель – Аристон, большевик – боевик, а вера в Брежнева сменилась Верой Брежневой…

...Знаю, для чего цветок, демьянка, кенгуру… А вот для чего человек?

...Консерватория осталась в прошлой жизни. Или позапрошлой. Все реже подхожу к инструменту. И не только потому что расстраивает ушедшая форма. Фрагменты классической музыки, уцелев в пальцевой памяти, воскрешают картинки прошлого, будто сфокусировав его – с волшебным детством и чудесной юностью, какие только могут быть в благополучной семье, где всем – очень хорошо. Совпалось так счастливо… Так вот играю теперь и… Эта фуга Баха – «отцовская» – он уверял, что она помогла ему в написании какого-то рассказа – какого-то «психологического поворота»… Эту часть концерта Шопена обожала мама… А вот вторая часть бетховенской «Лунной» – зима, из кухни доносятся потрясающие ароматы, мама, там, значит, что-то на ужин… А вот этого Сен-Санса любил насвистывать брат… Ну а от «Элегии» Рахманинова «фанатела» тетя – помню, она, придя к нам, чуть не с порога просила меня, пятиклассницу, сыграть ее… И даже плакала – до того пробирало… Фрагменты классики как воспоминание. Или – напоминание. Такая вот у меня память детства – музыкальная… Альтернативный семейный фотоальбом, который с годами листать больнее…

...Консерватория вышла из меня. Полностью. И лишь, поднимаясь на эскалаторе, пальцы «наигрывают» на резине поручня караевскую прелюдию...

...Меня любят собаки, бомжи, инвалиды. Это мои фанаты. Группа поддержки...

...Как замуж выходила? Просто. Подошел на улице. В первый раз его видела. Сказал, что

если за него не пойду, он умрет. Поставив себя на его место, поверила. Пришлось идти. Такая вот история, длиною в жизнь…

...«Allah deyib: «Səndən hərəkət, məndən bərəkət». Это по сути – «Кто не работает, тот не ест». Один в один. Слямзили большевички-атеисты...

...Журналист как летописец… Наиболее привлекательная для меня ипостась…

...Представление о народе создает все-таки личность. Одна-две-три. Их много не бывает. Когда я слышу «Китай», первым «прибегает» Конфуций, а потом уже потомки его, многочисленно блуждающие по нашему городу с продажными отвертками-свистульками-фонарями-попугаями…

...Смысл жизни в ее бессмысленности. Помните у Раневской: «У меня хватило ума глупо прожить жизнь» – подписываюсь обеими руками…

...Женщины рожают в муках, потому что Ева откусила яблоко… А кошки – зачем? Они ведь вообще яблок не едят…

...Природа и музыка – вот, пожалуй, то, из-за чего стоило бы прийти на этот свет. Все остальное как-то не особо впечатлило…

...«Свойственная Весам природная внутренняя отстраненность от результата»… Доходит до идиотизма: могу написать материал и забыть его послать в редакцию, или – забыть сообщить герою публикации, что я о нем написала, – неоднократно такое случалось... Снимаю шляпу перед астрологией – в который уж раз! Недавно просматривала старую записную книжку свою – пункты, ну, занятные: «Не забыть выйти в отпуск»… «Не забыть пойти за премией…»

...Марша победителя не люблю. Скучно это…

...Любовь делает любовью «нельзя». Вручи Джульетту Ромео в первый день их встречи, и все бы пошло по накатанной: нишан, ЗАГС, развод…

...Самый надежный пенсионный фонд – это правильно воспитанные дети…

...Выбор шадлыг эви не перестает волновать умы народонаселения страны… Ходят, скатерти щупают, кастрюли нюхают, приценяются-примериваются… Будто на всю жизнь…

...На людей смотри как на душевнобольных, тогда они тебя не разочаруют…

...Алыш-вериш-сатыш-атмыш-батмыш… Мини-биография незадачливого бизнесмена…

...Интеллигент – он менее кентавричен…

...Семь раз отказывалась от наследств в своей жизни. Не поленилась – подсчитала. Чужие по сути люди умоляли меня согласиться стать их наследницей – просто одинокие люди, которые мне симпатизировали. Мужчины и женщины. Одна из них была Нигяр-ханым Усубова, мой профессор консерватории. Помню, как она, придя к нам домой, упрашивала моих родителей «отказаться от материнства»… Мама никак не могла понять – «как это возможно»… Недавно рассказала об этом сослуживице, так она смотрела на меня, как на больную… Хожу сегодня по городу, где столько домов могли бы быть моими, и… ни о чем не жалею. Чужое – это не твое. Никогда…

...К слову, это – фамильное. Отец в свое время отказался от квартиры в Москве – трехкомнатной, бесплатной, на работе давали... Аргумент? «Зачем мне она? Я ведь без Баку жить не смогу»… Инопланетное почти мышление, как по нынешним, рыночным, временам… Впрочем… Спрашиваю сегодня об этом у мамы – спустя сорок лет. «Он же был прав», – был ее ответ. Без заминки…

...Одна из немногих радостей жизни – отдавать долги...

...«Генеральная репетиция» в устах Ростроповича прозвучало как – «гениальная»… Такая вот картавость – впопад…

...Лучший диетолог – блокада Ленинграда…

...Всех оправдываю – до последнего. «Ну, не может быть»… «Он ведь не специально»… Не умею судить и засуживать...

...Единственное требование к человеку – не будь подлецом. Остальное прощаю. Заведомо. И природную глупость, и слабость, и даже невежество, что всегда на пару с апломбом… Люди не виноваты – их такими задумали. Нельзя же вменять в вину корове, что она не гавкает. А подлец – это всегда намеренность. Это «рукотворное» – не свыше…

...Википедия… Все рвутся туда, попасть хотят. Чикатило, к примеру, попал…

...Никто мне не делал большего зла, не причинял вред – тяжело мне только с собой. Все остальные мне – как родилась – улыбаются. Говорят, что любят…

...В масштабах Времени, его высоко-вышины, мы все – ровесники. Я с Низами, ты с Леонардо, он – с Авиценной. Ну а «субординация» пресловутая, типа «беюк-кичик» – она просто смешна. Как и все ментальное...

...Нами правят два бича – неразумение и недоразумение. Но, как ни странно, у неразумных – недоразумений по жизни меньше…

...Все гении когда-то были на коленях. Зато сейчас они поставили на колени всех, в том числе и потомков своих деспотов…

...«Талант от Бога»… Каждый раз спотыкаюсь об это «озарение». А от кого еще должен быть талант? Это как «лифчики женские» или «погребальный саван»…

...Жизнь быстротечна? Спросите об этом у инвалида-колясочника. Или осужденного на пожизненное…

...Что такое жизнь? Одно большое сожаленье – о том, что не сделал. Или – что еще печальней – сделал. «Будьте осторожней с мечтами, они имеют свойство сбываться» – испытано на себе... Наши сегодняшние вожделения – отнюдь не гарант завтрашнего счастья. Все, к чему стремишься, когда-нибудь станет тягостным грузом…

...Я бы памятники бабникам ставила, – если б не они, род человеческий закончился – 1-2 ребенка в браке погоды не делают…

...Сударь, госпожа, ханым… Смешно и глупо звучит это к нам применительно. Редко кому реально подходит. Ханым – вся в мате, с сигаретой в зубах… Это как – «парадные». Подъезд хрущёвки – обшарпанный, облезлый, вонючий… И это – место, которое зовется «парадным». Такой вот парад… Пародия на парад… Сегодняшние много чего не знают, зато знают мансарду и солярий… А впрочем, так оно было всегда, помню обитателя развалюхи, который туалет без лампочки с жуткой сыростью называл «уборной», а покосившуюся – вот-вот рухнет – веранду – «галереей»… Плебейское стремление придать обыденности высокую значимость и собственную к ней сопричастность… Извечно жлобское стремление…

...Лето, кажется, 72-го… Нигяр Рафибейли… Шелковое платье цвета электрик на белокожей женщине смотрелось феерично! Взгляд было не отвести – статная, породистая! Хлопотливо-заботливая и несуетная в одно и то же время. Ханым… Настоящая, какие не забываются… С внутренним достоинством (сегодня достоинство все больше какое-то наружное)… Для меня она – как летний пейзаж в рамке.

…Ослепительно белая женщина в янтаре загульбинского заката…

Вот такая акварель – в кромке детской памяти. Неизощренно лаконичной, увы…

...Как-то так получилось, что никто из моих героев не прочитал книгу о себе. Ростропович читал отрывки в самолете и даже плакал над рукописью, но больше не приехал, Вагиф Самедоглу – потому что уже не мог встать, до того был ослабший, до выхода книги не дожил, Алим Гасымов – потому что вообще книг не читает… Так и сказал: это единственная книга, которую осилил до половины. Про канадца писала, хореографа, не прочел по причине незнания русского… Труд несизифовым не бывает...

...Книга о Вагифе Самедоглу… Говорят, получилась. Ну это понятно – после клинической смерти все умные… Я продолжаю задавать ему вопросы – без шансов на ответ…

...Старость – это когда не можешь есть, хотя все разрешено, не можешь вылететь, когда за тобой присылают самолет, не можешь пойти на юбилейный вечер, где тебе поют осанну, не можешь читать книгу, тебе посвященную…

...Вагиф… Он ушел, оставив меня на мосту… перекинутом меж… С перебитым дыханьем, отобранной иллюзией… Ушел. Один.

...Стою у его могилы. Черкаю что-то в своем поминальнике, облокотившись о кипарис… Под удивленные взгляды памятников, уборщиков кладбищенской территории… А еще настороженных сторожей…

...Я пришла к нему домой… Его там не было… Гостиная, та самая, где мы с ним «болтали» – я не узнавала ее. Будто обузилась. И дверь входную не узнала, проскочила этаж – туда, повыше… Собственно, он ведь и был уже где-то там… Как часто, не обдумывая, мы де-

лаем куда как верные шаги…

...Соседей не выбирают. На кладбище это понятнее. Лежат вот себе рядышком те, которые при жизни не очень как бы жаловали друг друга… Ну и смысл был – не ладить?..

...Узнав, что у него нехороший диагноз, Вагиф Самедоглу пошел и купил… гитару… Очень хорошо его понимаю – узнав про свой диабет, отправилась домой печь «Наполеон»…

...А вообще у меня много общего, как оказалось – немалыми площадями с ними пересекаюсь: как Караев, не люблю цветы, как Ростропович, люблю манговый чай, как Вишневская, не люблю духи, спорт, диету, покупаю вещи, как и она, где придется, и считаю презентации «пустым времяпровождением»… Как Бетховен, не умею расшаркиваться, подобно Чехову, считаю, что «все комично, даже страдание», люблю варенье из белой черешни, как Нострадамус, и из грецких орехов, как Сталин, люблю мохито, как Хемингуэй (правда, безалкогольный)… Подобно Скрябину, подвержена упадническим настроениям, так же, как Алим, люблю творожный пирог и жилетки… А еще, как Караев, под конец жизни – болею, потому что не могу работать, и не могу работать, потому что болею… Немало «стыковок» получилось, чтоб зауважать себя… Как Высоцкий, пишу на всем – рецептах, бланках, чеках… Подобно Льву Толстому, мучаюсь от своей многословности, как Рихтер, питаю отвращение к политике… Кулинарист, как Софи Лорен… Так же, как у Елены Образцовой, был у меня карликовый пинчер по имени Джоник, как Магомаев, не одолела «Мастера и Маргариту», как Челентано, страдаю аэрофобией… Подобно Коко Шанель, считаю, что «Жизнь резво катилась мимо, а я просто стояла в стороне и смотрела», как Спиваков, не умею писать смс-ки, как Вагиф Самедоглу, не люблю преподавать, а еще у меня такой же бардак на письменном столе, как у него… и мне так же, как ему, «не хватает брата, порой до физической боли не хватает»… Как Лайма Вайкуле, «карьеру» начинала с Азконцерта у Ильдрыма Касимова, как Сабина Бабаева – не пью, не курю, не ем мороженого… Да, еще пишу сердцем, как Зялимхан… Моя грустная коллекция… Или гигантомания…

...Всю жизнь делаю две вещи – читаю и чихаю – аллергия у меня. Да, еще пишу иногда...

...Общаясь со мной, поначалу все моему мужу завидуют, а под конец – сочувствуют…

...Тот, кто предал, не виноват в том, что ты доверился ему – в твоих бедах виноват ты. Всегда.

...Самое большое счастье – угодить себе. Другим куда легче...

...Молодость – это когда ничего нет, а ты радостный, старость – все есть, а тебе грустно. Так устроен этот свет…

...Ангелы всегда диабетики…

...Неудачи, проблемы, подзатыльники, ушибы… От них умнеешь…

...Столько думала о Ростроповиче, что кошак, сидевший напротив, и изрядно пополневший в боках, привиделся виолончелью, а его хвост – смычком…

...А ветеринары тоже заботятся о своем имидже. «Знаешь, это кто? Он вылечил собаку Максуда Ибрагимбекова… А этот – собаку Яшара Нури…»

...Профессии у меня нет. Не знаю, что это такое. Хобби сплошь…

...«Торопись медленно» и «Дорогу осилит идущий» – ищите меня где-то в этом переулке…

...Дуракам небо всегда посылает спасательный круг – заметили? Как компенсацию отсутствия мозгов…

...Я – фанатка своего знака зодиака (Весы). Главные аргументы – папа, Есенин, Белуччи… А еще Ницше…

...Еще недавно казалось, что кто-то тапшанул меня Всевышнему… И вдруг… мажор както незаметно сошел на нет…

...Сижу в Амсаре, у подножья горы, смотрю на ручей лесной, вернее, вслушиваюсь, и понимаю, что это единственное, чего я хочу в жизни – изо дня в день, и что ради этого пришла на этот свет. Ради этого вот шепотка…

...Перспективу не люблю. Боюсь ее. А Завтра у меня нет – оно у меня уже было…

...Написание книг как способ уцелеть. Внутри себя. Каждый вечер глажу себя по головке, вешаю орден и даю пинка – «стимул» на завтра…

...Чего боюсь? Расхотеть жить…

...А смерти я не боюсь. Если, померев, попаду туда, где была до прихода сюда, то отнюдь не имею против – ничего плохого о том периоде моего Всебытия я сказать не могу. Негатив бы я точно запомнила. Такое же – незнание… Да и потом – сколько людей там хороших, ждут меня – не дождутся…

...Я не прощаю медицине беспомощности в отношении Моцарта и Бетховена – ну, нельзя было так вяло развиваться…

...«Так сказать» или «как бы» – ключевые слова моей биографии. Как бы вышла замуж, так сказать, родила, как бы сделала карьеру, так сказать, нашла себя… Туманно все в смысле целей и действий… Так сказать, живу, как бы – не умерла… Существую как бы – сбоку человечества…

...Иду к своим бумажкам, как ребенок – к коврику с игрушками…

...Я – человек, который может быть интересен тем, что жил среди гениев… Это они меня укрупнили…

Веер такой получился – спектральный. Исповедь. За разбросом тем – цельность натуры. Россыпь суждений, вроде бы резюмирующих, и при этом без тени категоричности или утверждения на монополию истины. Вот так вот, никому ничего не навязывая… Размышления, дающие, на мой взгляд, достаточно полное представление об этом человеке. Человеке со своим взглядом – на все вокруг.

И на себя.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Прошло достаточно много времени, и вновь перечитывая страницы из «дневника» Натаван, заново прочувствовал сказанное ею, не удержался и снова написал ей письмо.

Письмо вдогонку...

Уважаемая Натаван Фаиг, спасибо за откровения, высказанные вами в результате ночных бдений по телефону и личных встреч. Эти раздумья вслух, облеченные в неординарную форму, позволили лучше понять суть вашего «Я» и глубину вашего уникального творчества. Это не набор избитых постулатов, а новое видение, если угодно, мироощущение, пропущенное через себя и предложенное в виде изящной словесности. Главное в вашем творчестве – это когда каждый абзац и фразы заставляют читателя думать, а не навязывают ему «мнения» в виде идеологического трафарета или догмы. Это и есть самое ценное в вашем творчестве, предложить еще раз подумать и тем самым изменить духовную жизнь читателя в лучшую сторону.

Ваша исповедь – лоскутное письмо, где каждая фраза как мазок кисти-пера большого художника, яркий и незабываемый, несущий Мысль. Это не чтиво, это информативная исповедь, признания, заставляющие остановиться и задуматься – о жизни, о мире и о бренности существования.

Считаю, что сказанное вами – это бриллиант, вставленный в обрамление моего рассказа.

Вы – неординарная личность и ваше творчество должны быть предметом специального исследования. И все же вы остаетесь загадкой, и еще многое и многое остается несказанным и недописанным…

Спасибо за то, что вы есть, за ваш неподражаемый писательский почерк, за ваше яркое обаяние таланта.